

СОВРЕМЕННОК 1854—1861

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

ИНОСТРАННЫЕ ИЗВЕСТИЯ

<ИЗ № 7 ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННОК», 1854>

Открытие Сейденгэмского дворца, его история и описание. — Размышления о нем английских журналов. — Памятник всемирной выставки. — Первоначальное воспитание в Англии. — Лондонские выставки. — Парижская выставка. — Лондонские и парижские театры. — Услуги Петербурга Парижу. — Магнетизм, — электромагнитные телеграфы. — Жители на Юпитере. — Трубочатые мосты. — Паровые машины и земледелие в Шотландии. — Водяные топилицы. — Всеистребляющее оружие. — Пароходы. — Парижская скука. — Trains de plaisir. — «Закавказье» барона Гакстгаузена. — Американцы в Японии. — Калифорния и Австралия. — Известие о Диккенсе, Маколее и переводах «Героя нашего времени».

Важнейшая новость за июнь месяц — открытие Сейденгэмского хрустального дворца *...

Какое же значение для английской нации будет иметь на самом деле это учреждение, столь великолепное? Будет ли его существование так же полезно для общества, как было блистательно его открытие? Не ослепляясь этим блеском, не увлекаясь слишком восторженными надеждами, находя уже и теперь, что дворец не свободен от неполноты и недостатков (так, например, в нем нет «индейского дворца», в параллель египетскому и ассирийскому, и слишком мало обращено внимания на индейскую фауну и этнографию, — упущения столь же чувствительные для английской публики, как и странные со стороны английских строителей дворца), английские журналы ожидают, однако, от Сейденгэмского дворца сильного влияния на распространение в массах образованности и любви к благородным удовольствиям ума и вкуса, даже на сближение между различными классами общества, еще так разделенными в Англии чопорными преданиями старинной исключи-

* Дальнейший текст выпущен, так как в более подробном изложении описание Сейденгэмского дворца содержится в статье «Новости литературы, искусств, наук и промышленности» («Отечественные записки», 1854, август. См. наст. том, стр. 89 и сл.). — *Ред.*

тельности. Вот, например, ожидания, высказываемые «Атенею». «Королева не напрасно стала во главе посетителей, приветствующих этот храм искусства. Хрустальный дворец двинет вперед образованность и смягчение нравов; беднейший человек в Англии теперь за шиллинг станет на день владельцем террас и фонтанов, тропических растений и произведений искусства; он посетит Фивы, приляжет в тени дендерских колонн, увидит львиную палату Альгамбры и чертоги Адраммелеха; станет на несколько часов греком, римлянином, ломбардцем; насладится произведениями Фидия и Буонаротти¹. Он возвратится успокоенный, освеженный к своей наковальне, к своему станку, и жизнь его надолго озарится отблеском дня, проведенного так благородно и радостно. Человек, наслаждавшийся созданиями Гиберти и Донателло², найдет уже грубыми и низкими для себя развлечения таверны». Положим, что и в этих словах еще много слишком светлых надежд; но в них есть своя доля справедливости. Особенно это будет справедливо тогда, когда понизятся цены на билеты последнего разряда: теперь они довольно дороги; шиллинг (более 30 коп. сер.) и в Лондоне сумма, которой не всегда может пожертвовать простолюдин для приятной прогулки. А если мы прибавим к этому цену проезда из Лондона во дворец и обратно (билет с проездом по железной дороге в последних местах в оба конца стоит 1 шиллинг 6 пенсов) (около 50 коп. сер.), то сумма окажется еще значительнее. Для посетителей с билетами в 1 шиллинг дворец открыт четыре дня в неделю; в пятницу он открыт по билетам (с проездом в оба конца по железной дороге) в 2½ шиллинга (75 коп.); в субботу по билетам в 5 шиллингов (1 руб. 50 коп. сер.); в воскресенье дворец закрыт, по старому английскому обычаю или предрассудку; а именно воскресенье и было бы удобнейшим днем для простого народа. «Лондонская Иллюстрированная газета», смотря на Сейденгэмский дворец с той же точки зрения, как и «Атений», пользуется днем его открытия, чтобы поместить в своем номере, вышедшем этого числа, справедливые, хотя довольно горькие замечания об «удовольствиях простого народа» в Англии. «Во многих землях, — говорит она, — удовольствия простого народа составляют предмет заботливости правительства. А в нашей свободной земле законодатели не хотели обращать надлежащего внимания на нравственные и умственные потребности народа. У нас закон не думает, что народу надобно доставлять воспитание и приличные развлечения; забота о том и другом предоставлена самому народу. Следствия этого были не слишком удовлетворительны. Высший и средний классы мало проиграли, потому что у кого есть деньги, тот найдет себе и средства к образованию и потом развлечению. Но для простого народа следствия нашей системы «невмешательства правительства» были нехороши. Старинное выражение «веселая Англия», merry England, прежде прекрасно характеризовавшее привычки простолюдина, ныне стало пустым звуком». И вот теперь, — говорит «Иллюстрация», —

Сейденгэмская компания подает английским законодателям случай обратить внимание на потребности народа — хорошо, если они воспользуются этим.

Англичане начинают чувствовать, как мы сейчас видели, вредные следствия того, что их правительство очень мало обращает внимания на первоначальное образование народа, почти совершенно предоставляя заботиться об этом самому обществу. И действительно, до 1833 года английское правительство вовсе не вмешивалось в первоначальное образование; с того времени оно иногда помогает постройке и поправке школьных зданий, но, кроме этого, — ничему. Да и на здания дает оно очень мало денег; с 1833 года, в течение двадцати двух лет, на «первоначальное образование» употреблено только 1 000 000 ф. ст. (6 000 000 р. сер., менее 300 000 р. сер. в год). И между тем все-таки число школ и учеников огромно; мы можем представить итоги их, потому что очень кстати именно во время рассуждений по случаю открытия хрустального дворца о народном образовании, к общему «Цензу (переписи, статистике) Великобритании и Ирландии за 1851 год», недавно обнародованному, вышло «Прибавление», заключающее в себе «Ценз (или статистику) воспитания». Постараемся, насколько позволяют границы нашего обозрения, познакомить читателей с главными фактами, представляемыми этим чрезвычайно интересным документом.

Англия и Уэльс (Wales)

Ежедневных (обыкновенных) школ	Воскресных школ	Вечерних школ для взрослых
Школ 46 042	23 514	1 545
Учащихся 2 144 378	2 407 642	39 783

При общем итоге населения 17 927 609. Во время прежних переписей эти цифры были:

Народонаселение	Учащихся в ежедневных школах	В воскресных школах
1818 11 642 683	674 883	477 225
1833 14 386 415	1 276 947	1 548 890

Итак, с 1818 года число учащихся в ежедневных школах утроилось, а учащихся в воскресных школах упятилось, между тем как число народонаселения возросло только на половину. Теперь на 1 000 человек народонаселения приходится около 120 мальчиков и девочек, учащихся в ежедневных школах, и около 130 посещающих воскресные школы. Еще значительнее пропорция учащихся в Шотландии. При народонаселении в 2 888 742, число учащихся в ежедневных школах простиралось до 426 566, так что на 1 000 народонаселения приходилось 127 учащихся; кроме того, число посещавших воскресные школы было до 285 000. Сверх вышеприведенных цифр, в Англии и Уэльсе показано еще 1 084 различных школ для нищих детей, сирот и т. д. с 110 000 учащихся. Основываясь на этих цифрах, надобно полагать, что одна

четвертая часть детей в Великобритании не получает еще ныне даже первоначального образования, сколько-нибудь основательного.

После Сейденгэмского дворца лондонское общество всего более занималось выставками, мелкими, но близкими родственницами новооткрытого «чуда».

Выставок в Лондоне неисчислимое множество; во-первых, выставки картин: Королевской академии художеств, Общества акварельных живописцев, воспитанников академий, французских живописцев и т. д.; во-вторых: Ботаническая выставка, выставка произведений садоводства, выставки произведений миллиона других искусств и ремесел. Но все они вместе едва ли заслуживают одной строки, хотя и заслужили десятки огромнейших статей в английских журналах. Чтобы не совершенно отстать от современных интересов, скажем и мы несколько слов о главнейшей из этих выставок — Выставке картин и статуй Королевской академии художеств. «Чудом» (marvel) этой выставки, состоявшей из 1 300 с лишком номеров, была «гигантская» картина Мэклайза (Mac-lise), употребившего холста на свое произведение, вероятно, не менее, нежели идет на парус средней величины (картина в длину до четырех сажен, высота ее не измерена, может быть и неизмерима; известно только, что картина упиралась в потолок), и надобно полагать, что ни один вершок этого огромного поля деятельности не пропал понапрасну под широкой кистью художника: он написал сто фигур во весь рост; одни поднимают руки к небесам, другие кладут их на головы третьим, а эти третьи уже прижимают свои длани прямо к сердцу; вдали разрушенный город, горящие башни — целое представляет какую-то «свадьбу» какого-то графа Пемброка. Все хорошо в этой картине, по мнению снисходительных критиков, кроме того, что она довольно плохо написана. Конечно, сколько можно судить по длинным описаниям, мы предполагаем, что были на выставке картины лучше этой парусины, например, «Суд присяжных» и «Сон графа Арджайля» накануне казни; но и они едва ли выходят из ряда дюжинных «прекрасных» явлений. Портретов на выставке были сотни сотен, так что они застывали все на выставке, даже самую выставку, и торчало из-за них только четырехсаженное «чудо» выставки. Англичане, конечно, жалеют об этом, как признаке «упадка и меркантильного направления» искусства; но сами же прибавляют, что между портретами было много прекрасных. На остальных одиннадцати или двенадцати более или менее художественных выставках было еще менее особенного. Известия о парижской выставке в следующем году продолжают: здание будет окончено в ноябре; приготовления к ней в Европе и в Америке идут в самых обширных размерах; английское правительство выразило свое намерение содействовать ей, ост-индское управление также, бельгийское правительство также; тосканское правительство даже ускорило годом выставку в своем герцогстве и назначило ее в

нынешнем году, чтобы она не совпала с парижской. А между тем как во Франции готовятся подражать Англии, в Англии готовится опять нечто неслыханное, именно «Воспитательная выставка», которую намерены открыть в очень скором времени. Французское, швейцарское и шведское правительства уже изъявили свою готовность содействовать ей; другие государства Европы и Соединенные Американские Штаты также будут приглашены или уже приглашены к участию. Цель ее — наглядно представить понятие о положении первоначального образования в каждой стране и дать средства судить о его успехах, недостатках и возможных улучшениях. Цель прекрасная; но едва ли бы не было вернее достигнуть ее конгрессом педагогов, по примеру конгрессов естествоиспытателей, врачей и других ученых. На выставку будут привезены планы школ, образцы успехов воспитанников (рисунки, чертежи, каллиграфические образцы, рукоделья из женских школ и т. д.); будут доставлены и рассматриваемы конспекты наук, таблицы занятий в школах, распределение уроков, объяснение метод преподавания и проч. Из кратких известий об этой выставке мы не могли заметить, принимаются ли предосторожности против шарлатанов, подобных диккенсовым содержателям и содержательницам частных английских пансионеров, этим наглым и тупоумным губителям детей, так прекрасно и быстро «возвращающим умственный скороспелый салат» и образовавшим несравненного мистера Тутса³. А какое обширное поле представляется их шарлатанству «Воспитательной выставкой»? Почему, однако, можно узнать будущее? Может быть, она и не принесет столько вреда, как знаменитые ежегодные конкурсы парижских коллегий, сильно мешающие дельным занятиям и развивающие огромное количество пустого самолюбия в «увенчиваемых» учениках, а в учителях еще больше склонности не учить на самом деле, а приучать учеников к пусканию пыли в глаза.

Эти выставки — театр, конечно, приносящий большую пользу, но только не первоначальному образованию детей. Недаром в американское законодательное собрание внесено предложение о запрещении малолетним бывать в театрах и цирках. Но не только мальчикам не следует бывать в театре, — и взрослая публика получила, повидимому, в последнее время очень мало свежих удовольствий от всех лондонских и парижских театров; это общее осуждение не простирается только на лондонскую «Королевскую Итальянскую оперу», в которой, как известно читателям «Современника», теперь поет большая часть любимых наших петербургских певцов и певиц: там Марио, Лаблаш, Тамберлик, Виардо, Гризи⁴, Марай. Конечно, все они поют прекрасно; конечно, всеми ими восхищаются; но что сказать о них нового? решительно ничего ни о ком, кроме Гризи. Она поет ныне в последний раз и по окончании сезона сойдет со сцены навсегда. Само собою разумеется, что об этом все грустят, слушают ее, по этому

случаю, с удвоенным восторгом и дивятся ее чрезвычайно благо-разумной решимости отказаться от театра тогда, когда довольно долго еще могла бы она блеснуть на нем, как блеснула двадцать лет.

В парижском театральном мире важнейшая новость — возвращение Рашели после отсутствия, продолжавшегося почти год, после бесчисленных слухов о том, что Париж потерял ее навсегда. Первая пьеса, в которой она опять выступила на сцену Théâtre Français *, была «Федра». Публика встретила свою Федру холодно, сердясь на нее за то, что так долго не видала ее, за то, что подверглась опасности лишиться ее. Но скоро все неудовольствия были забыты, и прежний восторг овладел публикой. Вот как Жюль-Жанен отдает отчет о впечатлении, которое произвела игра нашей гостью:

«Рашель заметила, что внимание и расположение публики пробуждены вновь, и тотчас же вошла в свою роль, получила жизнь, энергию, страсть; она скоро восторжествовала над невинной холодностью партера, которым так легко ей владычествовать, она явилась перед нами истинной Рашелью, toute entière à sa proie attachée **. Ее слушали, удивлялись, аплодировали ей, находили, что в сущности эти abominables Russes, эти «гадкие русские» не испортили ее редкого таланта! Не раз после долгого путешествия по отдаленным нашим провинциям m-elle Рашель возвращалась к нам с какими-то странностями, с какими-то переменами в жестях, в манере, в акценте, и тонкие знатоки шептались между собой, что их артистка ездила по странам, где говорят ломаным языком, где не умеют слушать чистого французского языка, была между какими-то беотийцами ⁵; шептались, что она не могла действовать на них искусством и должна была действовать экзажерацией ***. Москва и Петербург — не провинции; нет, это истинные столицы; я не знаю, думают ли там по-французски, но то верно, что там умеют говорить по-французски и говорить чистейшим, изящнейшим французским языком прекрасной эпохи наших великих писателей, без примеси барбаризмов и грозящего нам варварства. Возвращение m-elle Рашели из таких далеких краев со всеми прекрасными качествами ее таланта и всей элегантною ее искусства должно увеличить нашу признательность к чистому вкусу людей, живущих там, — людей, которые научили нас ценить не одного истинного артиста! В самом деле, сколько артистов, которым мы аплодируем теперь, отправлялись в Россию неизвестными и возвращались к нам славными! Чтобы не утомлять примерами, укажу только на m-me Аллани ⁶, кому обязаны мы ею? Кому обязаны мы пословицами Альфреда де Мюссе? ⁷ Кому обязаны мы Бертоном? ⁸ И если мы когда-нибудь увидим нашу изящную Плесси ⁹,

* Французского театра. — Ред.

** Владелицей своей добычей. — Ред.

*** Буквально — преувеличение, в данном случае — эксцентричность. —

Ред.

то кому будем обязаны мы тем, что она исправилась от своей жеманности à la Dorat? ¹⁰ За все это мы обязаны благодарить этих петербургских дикарей, варваров, этих петербургских бандитов! (Nous le devons à ces sauvages, à ces barbares, à ces bandits de Saint-Petersbourg)».

Повидимому, Жюль-Жанен не слишком увлекается воинственной ненавистью к русским; интересно было бы знать, мало ли во Франции людей, разделяющих его образ понятий о русских? Можно предположить, что не слишком мало, если им не позволяется высказывать своих чувств яснее; да и стал ли бы ловкий Жюль-Жанен так говорить, если бы не надеялся на молчаливое сочувствие своих читателей? Что еще можно сказать интересного об английских или французских театрах? Кажется, ничего; если не считать интересным явлением нового балета «Жемма» (Gemma), которого мысль принадлежит Теофилю Готье ¹¹ (как лестно для нас знать это, а для известного литератора украсить такой «жеммою», таким блестящим бриллиантом свой поэтический венок!), и танцы знаменитой Черитто; поэтому можно думать, что танцы «Жеммы» гораздо лучше «идеи» этого балета, довольно пошлой. Жемма (Черитто) влюблена в молодого живописца (конечно, не Теофиля Готье, который и в своих поэтических картинах кладет слишком много синьки для изображения испанского неба, и потому может быть назван не живописцем, а маляром, да и летами уже немолод), в Жемму влюблен какой-то глупец, который верит в магнетизм и магнетизирует Жемму; во сне она поэтому против воли любит магнетизера, наяву живописца, и история этой борьбы продолжается, конечно, до тех пор, пока самородная любовь торжествует над адскими злоухищрениями. Черитто имела в этом балете страшный, неслыханный успех.

Кстати о магнетизме. Непостижимо, как много еще находится легковерных, одурачиваемых этим шарлатанством. А их легковерие, поджигающее корыстолюбие обманщиков, приносит плоды. В Нортэмптоне недавно помешался молодой человек Джордж Уокер (Walker) от совершавшихся над ним опытов месмеризации ¹². «Но это уже доказывает, что в магнетизме скрывается какая-то сила». Набейте человеку голову какой угодно глупостью и заставляйте его делать почаще утомительные опыты, велите ему, например, по целым часам смотреть в стакан с водою, в уверенности, что от этого вода, наконец, обратится в чай со сливками — он все равно сойдет с ума; а иному даже покажется еще, что вода в самом деле превратилась в чай со сливками. Это доказывает только силу слабоумия и шарлатанства. Но нельзя сказать, что магнетизм иногда не приносил пользы. Вот, например, мы должны быть благодарны ему теперь, потому что он вывел нас из раздумья: каким бы образом вставить в нашу беседу с читателями хоть три-четыре маленьких известия о телеграфах, железных дорогах, пароходах и тому подобных вещах, без которых современность не современность и «Иностранные

известия» не могут обойтись, как пароход без каменного угля. Теперь связь найдена — пустой животный магнетизм соименник прекрасному магнито-электричеству; стало быть, мы имеем право говорить о магнито-электрических телеграфах, а нам этого и довольно. Телеграфы идут вдоль железных дорог, пароходы и паровозы почти одно и то же, и следовательно внутренняя отрывочность известий прекрасно прикрывается наружной связью, как жюль-жаненнова ненависть к затеявшим войну с русскими — любовью к Рашели.

Итак, об электрических телеграфах.

Между Агрою и Калькуттою, на расстоянии 800 миль (1200 верст) проведен электрический телеграф; потом открыто сообщение по электрическому телеграфу между Калькуттою и Сипри, на 1000 миль (1500 верст). Работы по устройству электрического телеграфа от Мадрита к французской границе почти окончены; до Сарагоссы телеграф предполагалось открыть уже в конце июня, и произведенная на-днях проба совершенно удалась. (А с другой стороны, между Лиссабоном и испанской границей прекратилось сообщение «по причине дурного состояния дорог».)

Толки о проведении подводного электрического телеграфа из Америки в Англию слышатся уже довольно давно; но предприятие так громадно, что трудно было бы верить в возможность его осуществления, если бы люди, коротко знакомые с делом, не защищали этого проекта. Так, например, лейтенант Мори¹³, знания которого не подвержены сомнению, убедился, что проложить телеграфический канат между берегами Ньюфаундленда и Ирландии — мысль удобоисполнимая, и изложил основания своего мнения в письме в американское морское министерство (Secretary of Navy). Он сообщает факты, бывшие до сих пор неизвестными. Во-первых, он утверждает, что дно моря между Ирландией и Ньюфаундлендом ровная долина, и что море в этих местах не слишком глубоко и не слишком мелко и, по всей вероятности, дно очень удобно для телеграфического каната. Во-вторых, Мори утверждает, что дно моря в этих местах ниже линии, до которой простираются морские течения, движение прилива и отлива, ниже линии, до которой уходят пловучие льды, так глубоко, что до него не достают якоря и т. д. Эти сведения собраны им посредством точных исследований, предпринятых по поручению компании, устраивающей телеграфическую линию из Нью-Йорка в Нью-Фаундленд и серьезно задумывающую продолжить эту линию до Ирландии. Сумма, которую предполагают достаточной для этого подводного телеграфа между Америкой и Европой, по уверению американских газет, не так велика, чтоб можно было бы ее пугаться. Если перекидывают телеграфические проволоки через Атлантический океан, то почему же не думать, что со временем перекинут их на луну, потом на Венеру и так далее? Вы скажете: незачем перекидывать, потому что не с кем будет

говорить по телеграфу, потому что ни на луне, ни на Венере нет жителей, которые умели бы говорить. Почему же непременно уже «нет»? Разве вы видали, что «нет»? Разве нельзя попытаться доказать возможность того, что они «есть»?

С того самого времени, как астрономия доказала, что наша земля — только одно из множества подобных ей небесных тел, из которых очень многие в тысячи и миллионы раз превосходят ее величиной, народные поверья, что планеты и солнце имеют своих жителей, получили в глазах большинства еще большую прежнего правдоподобность; с жадным любопытством стали пытаться у астрономов, до какой степени это поверье оправдывается наукой, но астрономы холодно отвечали, что они ничего достоверного сказать не могут, что факты науки молчат, а вдаваться в гипотезы, не основанные на ясных фактах, неприлично строгим ученым; что если, однако, их просят непременно сказать свое мнение, то они должны дать общий ответ: «если на других небесных телах и есть жители, то они не могут походить на людей, потому что устройство и качества их планет совершенно не похожи на те условия, в которых может жить человек. Так на одних планетах нет воды, на других нет и воздуха; на одних человеческое тело в миг иссохло и сгорело бы от страшного жара (например, на Меркурии), на других бы замерзло от страшного холода (например, на Уране или Нептуне)». Но эти ответы мало удовлетворяли любопытству; видно было, что астрономы старались только отделаться от недостойного науки вопроса, отвечали слишком поверхностно, не входя в подробности; видно было, что астрономы с пренебрежением и сожалением смотрят на вопрос, считая его следствием пустого и слабоумного любопытства. Так смотрела и смотрит на него и теперь большая часть серьезных людей. Лет сто тому назад один медик привел перед судом в доказательство сумасшествия Эллиотта факт, что этот ученый послал в английское Королевское общество записку, в которой утверждал «будто бы свет солнца происходит от облаков, которые так высоко, что могут не вредить жителям», будто бы «на солнце могут быть долины и горы» и т. д.; а через десять лет все это было доказано наблюдениями Гершеля (отца)¹⁴. Почему же и теперь не рассматривать подобных вопросов основательно, без пренебрежения? И если нельзя привести в ответ на них положительных наблюдений, то почему не снизойти к любознательности публики и не изложить подробно предположений, к которым можно притти на основании нынешних астрономических знаний? Сэр Давид Брустер (Brewster)¹⁵, один из первоклассных физиков и астрономов Англии, не считает это ниже своего достоинства и на-днях издал книгу «More Worlds than One» (Множество миров), в которой рассматривает гипотезы о населенности планет обстоятельно и основательно. Вот из его книги отрывок о возможности предполагать обитаемость планеты Юпитер:

«Исследуя этот предмет, люди, поверхностно знакомые с астрономией, находят возражения, повидимому, очень сильные. Расстояние Юпитера от солнца так велико, что свет и теплота должны доходить до этой планеты в очень малом количестве, недостаточном для поддержания такой животной и растительной жизни, какая существует на земле. Если предположим, что теплота заимствуется планетами единственно от солнечных лучей, то холод на Юпитере должен быть очень велик, и вода на его поверхности должна быть в замерзлом состоянии. Но температура планет зависит не от одного расстояния от солнца, а также и от других причин — от состояния атмосферы и от внутренней теплоты планеты. Чем гуще атмосфера, тем сильнее нагревается она лучами солнца; потому и на земле густые нижние слои воздуха гораздо теплее верхних, менее плотных; это испытано воздухоплавателями и людьми, восходящими на высокие горы. И атмосфера Юпитера может иметь такую густоту, которая вознаграждает до известной степени уменьшение теплоты лучей по причине отдаленности планеты от солнца. Внутренняя теплота Юпитера также может быть настолько сильна, чтобы удерживать его воду в жидком состоянии и поддерживать на его поверхности температуру, нужную для такой растительной и животной жизни, какая существует на земле. Конечно, густота юпитерской атмосферы едва ли может быть благоприятна и без того уже слабому (сравнительно с землей) освещению его солнцем. Но степень зоркости глаза зависит не только от степени освещения, а также от величины зрачка и от чувствительности глазного нерва. Большой размер зрачка и нежность сетчатки (сетки глазного нерва) могут давать жителям Юпитера способность видеть солнце столь же блестящим, как представляется оно нам. Серьезно возражение, что сила тяжести слишком велика на гигантской массе Юпитера и должна все придавить. Но точные вычисления отвергают и это возражение. Масса Юпитера не так плотна, как масса земли, а поперечник в 11 раз больше — то и другое обстоятельство уменьшают силу притяжения, и тяжесть на Юпитере только вдвое больше, нежели на земле. Человек, весящий на земле обыкновенно около 150 фунтов, имел бы на Юпитере тяжесть в 300 фунтов; а что человек имеет достаточно сил, чтобы свободно жить с телом, весящим 300 фунтов, это мы можем видеть на толстых людях, часто весящих и более 300 фунтов. Потому человек, имеющий сложение подобное нашему, мог бы без особенных неудобств существовать на Юпитере; точно так же могут существовать на Юпитере, если принимать в соображение только рассмотренные нами условия жизни, такие же растения и деревья, как на земле».

Интерес этого отрывка заключается не столько в новости самих соображений, более или менее известных всему ученому миру, сколько в решимости, не боясь насмешек, высказать вывод. Менее известны факты, сообщаемые Брустером о сатурновом кольце. Оно теперь состоит из трех отдельных колец, которые

в свою очередь опять могут дробиться на мельчайшие кольца. Наш знаменитый астроном г. Оттон Струве¹⁶ предполагает, что они состоят из жидкости; что светлая полоса близ края одного из этих колец есть зародыш еще нового кольца; наконец он вычислил, что расстояние между кольцом и ядром Сатурна уменьшилось со времен Гейгенса¹⁷, и что поэтому, поздно или рано, может быть всего через несколько десятков лет, кольца совершенно будут притянуты планетой и сольются с ней. Если на Сатурне живут не одни рыбы, то это не совсем будет приятно его жителям.

О железных дорогах нет особенно интересных новостей, но необходимые иногда для них трубчатые мосты (tubular bridges) все больше и больше входят в употребление и скоро, кажется, проложены будут через все реки, ширина и глубина которых не допускает построения обыкновенных мостов. Стефенсон, инженер Большой Канадской железной дороги, предлагает проект трубчатого моста через реку св. Лаврентия в Монреале, где река имеет несколько верст ширины. Мост будет стоить 1 400 000 ф. ст. (около 8 500 000 р. сер.). Трубчатый мост, строящийся по его же плану через Нил, скоро будет готов.

Круг приложения паров к промышленности продолжает быстро распространяться. До 1848 г. в Англии очень немногие фермы имели паровую машину; через десять лет она будет на всех больших фермах. И теперь уже, проезжая по земледельческим округам, повсюду видишь высокие дымящиеся трубы, это — трубы паровых машин, примененных к земледельческим работам. Паровая машина ныне молотит и веет хлеб, орошает поля, бьет масло. С тем вместе пользуются и жаром, ею производимым, чтобы варить и жарить кушанье. Изобретены уже и переносные рельсы, по которым маленькие локомотивы отвозят на нивы удобрение и свозят с полей жатву. Небольшие фермы, не имеющие возможности содержать собственную паровую машину, нанимают на несколько дней для исправления всех этих тяжелых работ странствующие паровые машины. Все эти усовершенствования, конечно, требуют огромных капиталов; в Англии не редкость встретить землевладельца, употребляющего в год по несколько десятков, даже сотен тысяч рублей на улучшение своих земель. Какие выгоды приносит таким щедрым владельцам благодарная земля, лучше всего показывает пример Шотландии, которая сто лет тому назад была бедной, почти бесплодной страной, а теперь не только прокармливает свои огромные мануфактурные города, но и вывозит в Англию огромное количество хлеба. Такая перемена произошла от приложения к земледелию капиталов, теперь доступных в Шотландии почти для каждого, благодаря прекрасному устройству шотландских земледельческих банков. Банков этих теперь восемнадцать; нет большого села, в котором бы один из них не имел своей конторы; число всех контор простирается до 400 (так что на каждые 6 000 жителей приходится по одной

конторе). Капитал всех банков вместе составляет около 6 000 000 р. сер. Всякая почти возможность злоупотребления или банкротства предотвращается постановлением, что каждый акционер банка отвечает своим имуществом в случае несостоятельности банка. Кроме того, банки два раза в неделю производят между собой расчет, и таким образом, находясь все в постоянных сношениях, ведут один за другим строжайший контроль. За вносимые на сохранение суммы (от 10 фунтов стерл. и выше) шотландские банки платят $2\frac{1}{2}$ или 3 процента; дают займы они по 4 или по 5 процентов. Важнейшая и благодетельнейшая их особенность то, что они выдают деньги не под залог, а под ручательство: каждый, известный за человека честного и трудолюбивого, может получать от них необходимую для него сумму, как скоро представит двух таких же поручителей в уплате.

Но, заговорившись о банках, мы не забыли паровых машин; они прекрасны, но имеют одно важное неудобство: их надобно топить. То же самое неудобство представляют и печи.

Дрова стоят денег, и больших денег; каменный уголь тоже. Деньги есть не у всякого и не всегда. А мороза не может выносить никто, даже не имеющий ни копейки, ни сантима денег. Из этого следует необходимость приискать такой способ нагревать холодный воздух (не можем сказать «топить», потому что для топления всегда нужны будут дрова, или каменный уголь, или что-нибудь, покупаемое за деньги), такой источник тепла, который бы доставался всякому даром, как деньги из шотландских банков. Солнце именно такой источник тепла; но только летом оно хорошо исполняет это дело; а зимой солнце греет плохо, и ему надобно найти замену. Некто г. Майер начал думать об этом и в прошедшем году придумал, что если два тела, например, два куска дерева, два куска железа, трутся одно о другое, то оба нагреваются, и что поэтому вместо топления можно ввести «трение», вместо печей — трущиеся снаряды. Ему доказали, что приводить в движение его машины стоит гораздо дороже, нежели топить печь. Он теперь придумал и на это ответ — надобно, чтобы эти машины приводились в движение водой, которая, как известно, течет бесплатно. Этим уменьшается круг употребления машин. Но можно придумать заставлять и ветер вертеть машины. Тогда их можно будет устраивать повсюду, где только дует ветер. Вероятно, кто-нибудь придумает это. Мы сами увлекаемся своей мыслью (что делать: свое мило всякому) и готовы даже представить в распоряжение будущего изобретателя «ветряных топильниц» (как есть ветряные мельницы) опровержение на единственное возражение против этого способа. «Ветер дует не всегда, скажут будущему изобретателю, поэтому и «топильницы» будут вертеться и топиться не всегда, и оставят иногда по две недели мерзнуть нагреваемых ими». Но разве против этого нельзя принять мер? Сберегают же холод, т. е. лед, в погребах от холодного времени к жаркому. Почему же не сберегать тепло, запасенное в

ветреную погоду, к тихому времени? Можно устроить топильни так, чтобы они накаляли камни; камни складывать в погреба; так в большой куче камней жар будет держаться долго, по нескольку дней и недель; из погребов провести трубы, по которым будет идти жар, куда нужно. А когда камни начнут остывать, опять подует ветер (ведь не два же месяца будет продолжаться затишь), и топильницы опять начнут вертеться, нагревать комнаты и накалять запасные камни. Чем это изобретение дурно? Может быть, только тем, что нагревание по новому способу будет обходиться вдвое дороже топления дровами. Но — стоит приняться за дело, чтобы упростить, удешевить его. А между тем г. Майер взял привилегию на свое изобретение, которое, конечно, подвергнется насмешкам в случае неудачи, но принесет неисчислимые блага в случае успешности. Зачем же торопиться смеяться над подобными смелыми опытами? *Bien gira, qui gira le dernier* *. Невозможного, нелепого в идее г. Майера нет ничего; напротив, она поражает своей простотой и разумностью.

Едва ли, напротив, поразит какого-нибудь неприятеля своим огнем и какого-нибудь читателя своей простотой и удобоприменимостью новое оружие, изобретенное Шаррейром и испытанное в Париже комиссией Академии наук, состоявшей из Пиобера, Морена и маршала Вальяна. Извлечение в отчетах Академии из отзыва комиссии не входит в технические подробности, вероятно из опасения, чтобы враги французской нации не воспользовались этим изобретением; но напечатанного отрывка довольно для того, чтобы ручаться за неудобность или совершенную негодность страшного оружия. Это оружие — копье, на котором надет щит, непробиваемый пулей и закрывающий корпус и лицо солдата до самых глаз (интересно знать, как велик вес этого щита? конечно щит так тяжел, что копье невозможно удержать в руках никакому богатырю). Безопасный за щитом солдат идет на неприятеля, и в 5 или 4 сажнях от него «зажигает» снаряд, приделанный на конце копья. Копье не стреляет пулей, а жжет огнем, который пылает на 5 или на 6 сажен в горизонтальном протяжении. Огонь этот так силен, что будет жечь не только первую, но и вторую и третью шеренгу неприятеля. После первой страшной вспышки копье продолжает, хотя в меньшем количестве, изрыгать огонь. Если, заключает изобретатель, «солдат бросится на неприятеля в ту минуту, как копье вспыхнет, и будет продолжать наступать с этим огненным копьем, то никакая человеческая сила не устоит против него». Конечно, не мудрено прицепить фейерверочный состав к концу дротика и устроить так, чтобы огонь летел в лицо неприятеля. Но дело в том, что никакой «греческий огонь» не устоит против пороха, против пули и ядра; это ясно доказано тем, что все подобные штуки, бывшие

* Хорошо смеется тот, кто смеется последним. — *Ред.*

в употреблении у византийцев, вышли из употребления после изобретения огнестрельного оружия.

Но пока вместо будущих водяных и ветряных топильниц будут топить дровами и каменным углем, пока люди не пережгут все друг друга дотла оружием, которое изобрел Шаррьер, люди будут ездить на пароходах. Размеры пароходов гигантски увеличиваются с каждым годом. Давно ли 120-пушечный корабль в 270 футов длины был «чудом морей»? Давно ли начали строить пароходы в 450 сил? Теперь есть пароходы в 1 000 сил. И этого мало. Некто г. Гуро (Gougaud) в Америке хочет строить пароход в 5 000 сил и в 1 000 футов (128¹/₂ сажень) длины. Если план и не исполнится теперь, если и не построит своего гигантского парохода Гуро, то другой спекулянт через год, через два года построит что-нибудь подобное — таков ход дела. Сообразно увеличению длины и силы пароходов возрастает и скорость плавания. «Атрато» недавно пришел с острова св. Фомы в Саутемптон (3 600 английских миль) в двенадцать дней (300 миль, или 450 верст в сутки). Североамериканский почтовый пароход «Азия» проплыл в три дня 975 миль (1 475 верст, или около 500 верст в сутки).

Но revenons à nos moutons *, то есть к милым и сильно при- смиревшим парижанам, которые теперь идут, куда их ни поведи, даже не упираясь, чем и разрушается сходство, на которое мы намекнули. В Париже меньше выставок, нежели в Лондоне; быть может, даже нет ни одной, по крайней мере нет ни одной, на которую парижане находили бы приятным смотреть; в театрах также мало нового, потому что Рашель в «Федре» — новость, которая была новостью еще в 1839 году; следовательно, не все смотрели и на нее; правда, на театре «Gymnase» явилась новая испанская танцовщица Переа-Нена, отличающаяся, за недостатком более блестящих качеств, «скромностью» в качуче; но испанских танцовщиц Париж видел уже миллионы; правда, в Сатори были скачки, — но день был страшно дождливый, и скачки происходили без обычной толпы зрителей, — что и было хорошо, потому что по грязи лошади скакали дурно; есть еще новость, но опять очень скромная — выбор во французскую Академию двух новых членов, Дюпанлу (епископа) и Саси (сына знаменитого ориенталиста и главного редактора «Journal des Débats» по смерти Бертена); да и это ново только потому, что, в противность обыкновению, академики почли достойным своих «бессмертных кресел» людей, которые, хотя не написали и не напишут ничего бессмертного, но все-таки умеют писать не хуже миллиона других более или менее малоизвестных писателей — что же остается делать парижанам? на что им смотреть? на новоизобретаемые мундиры

* Вернемся к нашим баранам, то есть вернемся к предмету нашего разговора. — Ред.

восстановленной гвардии? но их никак не могли еще изобрести (какое важное и трудное дело! а за недостатком лучшего, все журналы сообщали известия и предположения об этом великом текущем внутреннем вопросе), и потому неизъяснимую отраду хоть на час доставило парижанам поучительное зрелище человека, умеющего ходить на четвереньках, по образу других млекопитающих. Действительно, один поселянин вызвался за приличное вознаграждение пройти или пробежать на четвереньках в час весь Булонский лес, от конца до конца; «образованнейшее в мире общество» с удовольствием приняло благородный вызов его щедрости и любопытству; несчастный скоморох исполнил свое условие и выиграл приз; но, пробежав на четвереньках огромное пространство своего «бега», не мог уже подняться на ноги — у него свело руки и ноги... Как еще грубы и унижительны забавы большинства в половине XIX века!

Если так мало нового в Париже, что приходится с удовольствием смотреть на людей, ходящих на четвереньках, если в Париже продолжают попрежнему ломать, строить и опять ломать, чтобы перестраивать вновь (так случилось, например, с Лувром и луврским садом), то жить в Париже скучно, и поневоле начнешь думать, как бы оттуда вырваться, хоть на время. И вот компании, возившие прежде путешественников целыми партиями в Лондон по 75 или 120 франков с головы, теперь собираются на новый подвиг. Говорят, будто бы скоро начнутся «trains de plaisir»*, — путешествия партиями по Немецкому морю, по Рейну, по Средиземному морю. Эти trains de plaisir, несмотря на то, что шарлатанские объявления о них обещают гораздо больше, нежели исполняется на деле, все-таки выдумка очень хорошая. Вы берете билет — и больше ничего не хотите знать; вас возят по программе с места на место, вас кормят, поят, чуть не обувают и одевают, показывают вам везде все достопримечательности, доставляют все возможные удовольствия (конечно, в количестве меньшем против обещанного в программе). Чего же больше? Компания, возящая такие партии, получает огромные уступки от железных дорог, от театров, от ресторанов и, приобретая от вашего путешествия большие выгоды, все-таки имеет возможность возить вас втрое дешевле, нежели обошлось бы вам самим путешествие с десятой частью удовольствий и удобств, обещанных в программе. А наполовину программа исполняется.

Но уже, конечно, никому из парижан, которые собираются ехать теперь с этими trains de plaisir в Италию, Грецию или Швецию, во всю жизнь не удастся проехать и десятой части того количества миль, которое проехал Джемс Клек, кондуктор Бристольско-Экзетерской железной дороги. В 12 лет своей кондукторской службы он проехал 1 000 000 миль (1 500 000 верст), расстояние, почти в сорок раз большее окружности земного шара.

* Увеселительные поездки. — Ред.

Интересно знать, любил ли путешествовать этот великий путешественник? Если бы кто-нибудь из русских захотел превзойти этого героя, ему стоило бы посвятить на борьбу только 8 лет жизни. Не выходя из вагона московской железной дороги и проезжая каждые сутки 607 верст, он совершил бы в 8 лет более 1 750 000 верст. Но если едва ли кто-нибудь позавидует участи Джемса Клека, то уже наверное можно сказать, что никто не пожелает себе участи какого-то Делюи (хоть и многие пойдут по его следам). Взошедши с друзьями на Везувий, он стал слишком близко к окраине кратера — земля оборвалась — и он упал в кратер. Нельзя не пожалеть его; но нельзя и не сказать, что если бы он уцелел, то его назвали бы глупцом. Зачем, куда и что видеть ему было нужно? Другое дело, если б он рисковал жизнью для пользы науки. Но если уже мы сказали о числе миль, которое проехал Джемс Клек, то прибавим еще, что все почтовые поезда в течение года проезжают в Соединенных Штатах более 90 000 000 верст, или около двух третей расстояния земли от солнца.

Но что же делают истинные путешественники? Неужели они не дают о себе отзыва? Нет, они попрежнему трудятся на пользу науки, исследуют Центральную Африку, Центральную Америку и печатают письма и книги чрезвычайно интересные, но слишком тяжелые для нашего беглого обзора; мы не можем долго останавливаться с ними на озере Чадде и развалинах Ниневии и Персеполя, мы должны пересказать еще довольно много современных известий.

Путешествия, описания отдаленных и близких стран всегда составляли одну из самых плодотворных отраслей английской литературы; можно теперь легко сообразить всякому, какое громадное количество книг и книжонок о Турции, России, Закавказских провинциях, Валахии, Молдавии появляется на английском языке в настоящее время. Их так много, что в английских критических журналах явился для них особенный отдел, еженедельно отдающий отчет о десятках «книг о войне» и перечисляющий без дальнейшего рассмотрения еще другие десятки менее интересных книг того же содержания. Мы, конечно, не будем останавливаться над ними, потому что, если и есть между ними много дельных и даже несколько беспристрастных, то не найдется пока еще истинно замечательной ни одной, кроме — «Закавказье», барона Гакстгаузена¹⁸; но и эта книга не английская, а немецкая, и только потому мы упоминаем о ней вместе с английскими, что знаем ее по английскому переводу; итак, мы сказали, что единственная замечательная книга о странах, в которых теперь театр войны — «Закавказье (Transcaucasia), очерки народов и племен между Черным и Каспийским морями». Автор знаменитого путешествия, коротко узнав Россию, полюбил ее, и его «Закавказье» проникнуто симпатией к России и к русскому владению за Кавказом. Английские рецензенты, конечно, назы-

вают это если не пристрастием, то предубеждением. В самом деле, барон Гакстгаузен до того предубежден, что думает, будто бы «поддерживая гражданский порядок в закавказских областях и цивилизуя их, русские пролагают путь цивилизации и в прилежащие азиатские страны». Сколько мы можем быть судьями в собственном деле, нам кажется, что это истина довольно простая; если память нас не обманывает, в ней даже и не думали сомневаться до начала войны ни англичане, ни французы. Как бы то ни было, книга барона Гакстгаузена, по признанию самих недоброльных английских рецензентов, полнейшее и вернейшее изображение нравов закавказских племен и настоящего положения Закавказья. Известная наблюдательность барона не изменила ему и на этот раз, и его «Закавказье» наполнено интереснейшими замечаниями и анекдотами. Приведем два или три наудачу. Однажды турецкое судно, нагруженное черкесскими красавицами, предназначавшимися для гаремов, было перехвачено русскими. Комендант порта, куда было приведено судно, объявил интересным пленницам, что они свободны, что они могут совершенно располагать своей судьбой: «Если хотите, выбирайте себе здесь мужей; если хотите воротиться на родину, я пошлю вас с конвоем, которым будет начальствовать князь из вашего племени». — «Нет, — отвечали милые девушки с трогательным единодушием, — позвольте нам опять сесть на судно и отправиться в Константинополь: там нас купят в невольницы, может быть, богатые люди». Какое разочарование для барона Гакстгаузена, радовавшегося освобождению несчастных жертв гнусного корыстолюбия! Английский рецензент извиняет своих клиенток тем, что «продажа на невольничьем рынке, по их понятиям, не унижительна и может доставить им выгоду жить в богатом доме» — сущая правда; но хороши понятия! Однако, если черкешенки и считали благополучием попасть в гарем, то едва ли такой идиллический образ мыслей был разделяем христианками, армянками, которые также до владычества русских не были избавляемы от этого счастья и, вероятно, очень редко находили таких великодушных владык. Американцы поступают в этом случае хладнокровнее англичан: не ратуют за красавиц, лишаемых завидной участи быть продаваемыми на константинопольском невольничьем рынке, а прибирают к рукам все рынки, которые можно вырвать у соперников-англичан, пока те заняты черкешенками. Известно, что с Китаем теперь у них торговля немногим меньше, нежели у англичан, и скоро будет больше; а вот они открыли для себя еще новый рынок, необыкновенно важный — «неизвестную» доселе землю, Японию.

Назад тому год или больше Северо-Американские Штаты отправили в Японию довольно значительную эскадру, с требованием, чтобы японцы перестали запирались от всех других наций в мире, открыли свои порты для торговли, позволили запасаться у себя водой и жизненными припасами кораблям, идущим в Ка-

лифорнию, одним словом, вступили с североамериканцами в дружеские сношения. Думали, что дело не обойдется без хлопот, что американцам придется поугасть своих новоприобретаемых приятелей, чтобы «внушить» им, как справедливо сказано:

О дружба, кто тебя не знает,
Не знает тот и красных дней... —

то есть, кто не хочет мирной торговли, тому приходится плохо. Но все покончилось мирно, ладно и действительно по-дружески: получены известия о полном успехе посольства. В половине февраля эскадра прибыла по предварительному соглашению с японскими сановниками в залив Иеддо; после довольно долгих толков о том, в каком месте залива стоять кораблям во время переговоров, 7 марта командир эскадры, Перри, имел первое свидание с четырьмя уполномоченными японского правительства¹⁹. Свидание происходило на берегу. Подробности церемониала, которым началось свидание, были очень похожи на соблюдаемые китайцами; чай, закуска, тосты, удовольствие, с которым японские уполномоченные пили вино, бесчисленные изъявления учтивости, бесчисленные поклоны с обеих сторон, все это было совершенно на китайский лад. Между чиновниками, с которыми американцы имели дело, многие умели говорить, читать и писать по-голландски и по-английски. Несмотря на то, что уже два века прошло с тех пор, как японцы заперлись от всех европейцев, кроме голландцев, которым позволялось присылать каждый год два корабля в Нангазакскую гавань, японцы удивительно хорошо знают обо всем, что делается нового в мире: голландцы постоянно доставляют им европейские газеты, журналы, книги, которые читаются в особенной школе, уведомляющей правительство о всех важных событиях современной истории. Когда адмирал Сесиль приехал с французской эскадрой в Нангазакскую гавань, то, к величайшему изумлению французов, прибыли на фрегат переводчики, которые не могли говорить по-французски и понимать изустного разговора, но понимали все написанное по-французски. Итак, в Японии есть люди, знающие голландский, английский, французский, вероятно и немецкий, языки. И японцы скоро доказали командиру американской эскадры, с каким интересом следят они за открытиями иноземцев. Один из чиновников, с которыми велись переговоры, спросил у Перри, каково его мнение о калорической системе Эриксона²⁰, и доказал ему своими вопросами, что имеет довольно ясное понятие об этом недавнем изобретении. Кажется даже, что подобные сведения довольно распространены в массе. Когда один матрос из экипажа эскадры, родом ирландец, умер, и американцы, с позволения японцев, похоронили его на берегу, то один из японцев, присутствовавших при церемонии, тотчас же прочитал английскую надпись на камне, положенном над могилой, и рассказал о ней начальству, которое потребовало объяснений, каким образом американский матрос мог быть родом из Ирлан-

дии,— им было хорошо известно, что Ирландия принадлежит Англии, а не Соединенным Штатам. Электрический телеграф, полный прибор которого с пятью милями проволоки был в числе подарков, назначенных для императора, произвел сильное впечатление на понятливых японцев. Они видели, с какой мгновенной быстротой передает он известия (знаки на циферблатах телеграфа были написаны японскими буквами, и тем легче было японцам понять его употребление); они хорошо понимали важность и удивительность этого изобретения, но не приписывали его действий волшебству, как другие азиатцы. Их также очень поразила маленькая железная дорога, длиной в 200 сажень, которую устроили американцы, положив рельсы кругом, так что локомотив мог ездить не останавливаясь. Когда машина сделала несколько кругов, японцев пригласили попробовать покататься по новой для них дороге. Сначала они колебались, потому что боялись быстроты езды, простиравшейся до 60 верст в час. Но после первого опыта они наперерыв садились в вагон. Между тем переговоры шли своим порядком, и американцы вполне достигли своей цели — теперь им позволено торговать с Японией, и эта земля с 1854 года перестает быть для нас terra incognita*.

Мимо Японии — путь в Калифорнию; а с Калифорнией неразлучна в нынешних известиях Австралия. Посмотрим же, что нового известно о Калифорнии, Австралии и золоте. Все количество золота, добытого в течение двух лет (1852 и 1853) в золотом округе Виктории (в Австралии), простирается до 25 000 000 ф. ст. (150 000 000 р. сер., или по весу до 100 000 пудов). Привоз товаров в колонию Виктории простирался в 1853 году до 15 842 637 ф. стер. (около 98 миллионов р. сер.) и будет вдвое или втрое больше через год. Естественно, впрочем, что при таких огромных средствах австралийские английские колонии и развиваются чрезвычайно сильно. В Мельборне английское правительство основывает уже университет. Жалованья профессорам назначается 1 000 ф. ст. (6 000 р. сер.). Кембриджскому университету дано поручение приискать кандидатов. Не удивительно, если при сбродном населении колонии и огромном количестве получаемого богатства, в «золотом округе» свирепствовало пьянство. Теперь составила из самих жителей лига для его искоренения, которая требует строгих наказаний за этот порок. Всего народонаселения в колонии считается до 200 000 человек. Из Калифорнии в первые три месяца 1854 г. вывезено золотого песку на 10 679 120 долларов (около 16 000 000 р. сер., или по весу 11 000 пуд.). Из этого видим, что хотя удивительно богатая добыча австралийских россыпей затмила славу Калифорнии, но и в ней золота добывается все больше и больше. А в Австралии между тем найдены еще новые золотые россыпи — именно, в западной части материка, около Фримкестля. Но не везде счастье

* Неизвестною областью. — Ред.

английским золотоискателям: слухи о золотых копях на Цейлоне оказались ложными. Нам уже прежде случилось упомянуть о китайцах, теперь мы говорим о Калифорнии. Скажем же, что китайцы в Калифорнии (их там 25 000) начали издавать китайскую газету.

И вот обозрение наше кончено. Новости истощились; может быть, утомились и читатели. Однако, как бы ни велико было их утомление, конечно, не поскучают они выслушать два-три слова о Меколее и Диккенсе.

Диккенс избран в президенты «Атенея Чтения» (Reading Athenaeum). Бывши в Манчестере, он написал статью об этом городе и его фабриках. Некоторые фабриканты обиделись статьей (за что? этого не упомянуто в наших материалах; но, кажется, причина гнева то, что он говорил о бедности рабочих и о невежестве многих фабрикантов). Некто мистер Хилль (Hill) возъярился гневом и объявил (как будто бы тот почтенный господин, обидчивость которого хвалит Гоголь²¹): «я тоже фабрикант, стало быть я тоже невежда? Да после этого литераторов нельзя пускать к себе в дом — они вас «окритикуют». Эта выходка доставила журналам случай посмеяться над мистером Хиллем и уверить его, что, конечно, он невежда, если не знает, что посещение Манчестера Диккенсом было честью для этого города, как это и понимали, кроме мистера Хилля, все жители Манчестера, «носившие на руках» своего гостя. Нового романа Диккенса «Hart Times», «Тугое время», теперь вышла уже почти половина.

Меколей²² (между прочим и редактор «Edinburgh Review») единодушно избран в президенты Эдинбургского философского института (Академии). Он издал III том своих «Essays», собранных из «Эдинбургского обозрения».

Приятнее всех известий о Диккенсе, Меколее, как мы ни уважаем их, для нас известие о том, что в июне месяце вышли один за другим два перевода «Героя нашего времени». Сначала объявил книгопродавец Буг (Bogue) о своем издании, не означая имени переводчика (A Hero of our own times). Потом появилось объявление Ходгсона о издаваемом им переводе, сделанном Терезою Пульской (The Hero of our times); этот последний перевод, составляющий 112 том ходгсоновой «Библиотеки гостиных», Parlour Volumes, сколько можно судить по переводу заглавия, должен быть лучше. Итак, вот уж три английских перевода «Героя нашего времени». Первый вышел в прошлом году, под заглавием «Очерки русской жизни на Кавказе» (Sketcher of Russian Life in the Caucasus)*.

* The Illustrated London News. — The Athenaeum. — L'Athenaeum Français. — L'Illustration. — L'Indépendance Belge. — Journal des Débats. — Comptes rendus de l'Académie des Sciences. — Illustrierte Zeitung. — Allgemeine Zeitung.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕТКИ
ИНОСТРАННЫЕ ИЗВЕСТИЯ

<ИЗ № 8 ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННОК», 1854>

Парижские и лондонские новости. — Опера. — Смерть Зонтаг. — Новые пьесы. — Перестройки в Париже. — Воспитательная выставка. — Конгресс филологов. — Новый род вооружения. — Общественное мнение против опасных фокусов. — Подводный телеграф между Европою и Африкою. — Новые приложения электрохимизма к промышленности. — Гальванические ручки для перьев. — Усовершенствования в парходах и парусных судах. — «Духи-постукиватели» в Северо-Американском сенате и Парижской Академии наук. — Новейшие известия из Соединенных Штатов. — Смерть Эмиля Сувестра и Рауль Рошетта. — Археологические открытия. — О понижении цены золота.

Париж, который был так беден месяц или два тому назад новостями, теперь может похвастаться тремя, — не десятками, как прежде, нет: блеск и разнообразие общественной жизни исчезли из города, который прежде называл себя столицею Европы, Париж совершенно затмевается теперь своим новым союзником, Лондоном, — тремя новостями в четыре недели. Этого было бы мало для одной недели Парижа тридцатых или сороковых годов, но слишком довольно для современного Парижа. Из трех новостей одна полезна и приятна для парижан, другая по всей вероятности будет неприятна для знаменитой певицы их, Крувелли, третья приятна не только для парижан, но и для нас. Приятная и полезная новость это — появление в Париже давно невиданного, уже почти совершенно забытого парижанами солнца. До половины июля погода во Франции была страшно дождливая, так что грозила совершенной погибелью хлебам, решительным наводнением Парижу. И мы в продолжение всего мая, июня, половины июля имели удовольствие читать в парижских газетах фельетоны, состоящие с начала до конца только из одних чрезвычайно остроумных, разнообразных, легких, интересных толков о погоде, шуток над погодою, сожалений, что не о чем говорить, кроме погоды. Мы должны, однакоже, сказать, что, по неопытности в подобных делах, самые знаменитейшие из парижских фельетонистов, в том числе даже и нестерпимый Жюль-Жанен, не могли достичь легкости и остроумия. Итак, Париж теперь печется на солнце и находит, что наслаждаться солнечным блеском — невыразимое наслаждение. Другая новость — изменение судьбы парижской Итальянской оперы, которая в последние годы самым жалостным образом влачила свое существование, обремененное неоплатными долгами. Правительство увидело, что опера обанкротится и исчезнет из Парижа, если не подать ей новую руку помощи — одна рука помощи, 600 000 франков ежегодного пособия от казны, уже подавалась опере постоянно, и — правительство решилось взять оперу в свое непосредственное заведывание, «как это было при Наполеоне» — последний и решительный аргумент, против которого ничто не может ныне устоять во

Франции. Если бы доказано было, что при Наполеоне перчатки носили на ногах, а сапоги на руках, то без всякого сомнения было бы сделано немедленное распоряжение восстановить этот прекрасный обычай¹. Итак, опера поступила в казенное заведывание; правительство приняло на себя ее долги и обещает ей в будущем блестящую будущность. Надежда прекрасна; но трудно разделять ее, потому что директором оперы оставлен нынешний содержатель ее, Нестор Рокплан: умев довести до банкротства собственную спекуляцию, все выгоды которой шли бы в его карман, он, вероятно, сумеет еще хуже повести оперу, когда ни до выгод, ни до убытков заведения не будет ему никакого дела. Парижане были страшно недовольны своею оперою в нынешнем году и особенно бранили примадонну, Крувелли, которая все кричала и махала руками, но никак не хотела разучивать своих партий и пела, что ей вздумается — в «Вильгельме Телле» партию из «Севильского цирюльника», а в «Севильском цирюльнике» из «Нормы» или «Лучии». В самом деле, самоуправство Крувелли с музыкою почти доходило до этого. Выведенные, наконец, из терпения парижане закричали, что Крувелли не стоит платить 100 000 за восемь месяцев за то, что она машет руками на сцене, и что тридцать лет тому назад певицы гораздо лучше Крувелли получали по 20 и по 15 тысяч франков за год, и что надобно посадить Крувелли с товарищами на эти прежние оклады. В последнем парижане ошибаются — другие времена, другие нравы; если Крувелли в Париже будут предлагать только 15 000 франков, она уедет в Соединенные Штаты, в Калифорнию или Австралию и там соберет в год двести тысяч, как бы ни плохо пела. Америка продолжает быть самою щедрою для сценических знаменитостей землею: туда едет Гризи по окончании своих прощальных спектаклей в Лондоне, туда поехала, по следам Дженни Линд, знаменитая Зонтаг, в надежде составить там для своих детей обеспечение, которого не успела приобрести в Европе, несмотря на все восторги слушателей; и ей удалось бы достичь цели своих материнских забот, если бы она не умерла от холеры через полтора года по приезде, 18 июня, в Мехико*, на 48-м году от роду. Запечатальная жизнь великой певицы заслуживает того, чтобы напомнить о ней в нескольких словах, и потому просим у читателей позволения на время прервать рассказ о парижских новостях.

Генриэтта Зонтаг родилась в Кобленце, около 1806 года. Она поступила на сцену очень рано — шести лет она исполняла партию маленькой девочки в одной из тогдашних опер и привела публику в восторг. Потом она была принята в Пражскую консерваторию и по окончании музыкального образования, снова дебютировала на шестнадцатом году. В Вене, потом в Лейпциге и особенно в Берлине производила она фурор своею красотою, грациею, благородством характера, а более всего своим удивительным голосом

* Столица Мексики. — *Ред.*

и превосходным методом пения. Из Берлина, где она была с уважением принимаема в лучшем кругу, потому что и репутация прекрасной певицы была так же безукоризненна, как ее пение, Зонтаг поехала в Париж и Лондон, где пела два или три года, возбуждая восторг, не охладевший потом в течение двадцати лет, прошедших до нового появления ее на этих сценах. Все это довольно обыкновенно; зато в последующей судьбе Зонтаг много оригинального. В Париже предложил ей руку сардинский дипломат, граф Росси (не тот Росси, который известен как политико-эконом, был потом французским посланником в Риме и убит в 1848 году), один из первых аристократов Сардинии. Знаменитая певица покинула сцену, которую страстно любила, потому что любила своего жениха еще больше. Она вступила в аристократический круг и прелестью своего обращения, благородством манер заставляла самых надменных соперниц признаваться, что служит украшением их общества. Но в 1848 г. дела ее мужа пришли в расстройство; богатая фамилия Росси потеряла все свое состояние. Тогда графиня Росси решилась вступить снова на сцену, чтобы доставить мужу и детям средства поддержать блеск родового имени. Приглашения посыпались отовсюду; мадам Зонтаг давала концерты во многих городах, между прочим в Париже, и, наконец, явилась на сцене лондонской оперы. Ее предшественницею была здесь несравненная Джени Линд, производившая в Англии сумасшедший восторг — читатели, вероятно, еще не забыли, когда Джени Линд выезжала в какой-нибудь английский город, навстречу ей выходило все городское начальство, предлагало ей почетную квартиру и т. д. — несмотря на всю опасность такого соперничества, Зонтаг вполне торжествовала. Потом она пела в разных европейских городах и, наконец, осенью 1852 года отправилась в Нью-Йорк; потом объехала Соединенные Штаты и везде имела полнейший успех, хоть и здесь ее предшественницею была Джени Линд. Наконец она приняла предложение мексиканского театра; но вскоре по приезде в город Мехико занемогла. Зонтаг была ровного, тихого, кроткого характера; таково же было и ее пенье; она не блестела, как другие певицы, только в тех ролях, где нужна страсть; во всех партиях она пела одинаково прекрасно; удивительный метод, чистота вкуса и добросовестность выполнения придавали особенное достоинство ее прекрасному голосу; и люди, слушавшие Зонтаг в продолжение нескольких лет, не помнят ни одного спектакля, в котором ее игра была бы не совершенно безукоризненна.

Возвратимся в Париж и доскажем третью новость тамошней общественной жизни, чрезвычайно приятную для нас; парижские театры, по обыкновению, закрылись в конце июля на несколько времени. Парижане очень довольны; потому что даже проливные дожди, погода самая благоприятная в старину для парижских театров, не могли ныне загнать зрителей в театры. Мы радуемся еще больше, потому что избавляемся от скуки читать разглаголь-

ствования о десятках водевилей, опер, комедий, драм и проч. Отрада очень чувствительная; невозможно вообразить, не испытав, как скучно читать на пятнадцати огромных столбцах рассуждения о каком-нибудь «Сне в зимнюю ночь» (*Songe d'une nuit d'hiver*), пьесе, которая нелепым образом осмелилась взять заглавие шекспировского «Сна в летнюю ночь» и основана на том, что какой-то поэт Анджело, не похожий не только на итальянца, но и вообще на человека, хочет застрелиться, бесконечно толкуя о наслаждении, которое доставит ему пуля, как вдруг в его мансарде является блестящая красавица и приглашает его танцевать с нею, потому что она влюблена в него; по мановению волшебницы комната освещается тысячью огней, появляются гости, начинается бал. Быстро летит время для Анджело — и в конце бала красавица объявляет счастливому поэту, что она знаменитая актриса, влюбившаяся в него за его стихи. К досаде публики, Анджело решается остаться жив и быть счастливым. Но зрители осуждают его на смерть за его бестолковость и за тоску, которую он навел на них. Еще досаднее какая-нибудь «Комедия в замке Ферне» (*Une comédie à Ferney*); тут является на сцену сам Вольтер и оказывается человеком очень глупым, хотя и желающим поддержать свою историческую репутацию остряка. В него, также за его стихи, влюбляется какая-то мадам Селиана, присылает ему любовные письма, приезжает сама, за нею приезжает муж, и оба начинают надоедать Вольтеру, — заметьте, шестидесятилетнему — как это натурально — одна нежностями, другой ревностью. Публика велит прогнать докучливых гостей, а с ними вместе согнать со сцены и самозванца, прикидывающегося Вольтером. Подобным же образом какой-то драматург удосужился изуродовать жизнь Сафо². Довольно этих примеров, чтобы читатель мог понять, как велика была наша радость при известии, что на несколько недель мы избавляемся от всех парижских театров. Если только возможно, не менее, нежели театры, надоедают вечные описания того, как быстро и прекрасно перестраивается Париж по мановению Луи-Наполеона³: целые десятки улиц, по словам парижских фельетонистов, вечно делающих из мухи слона, продолжают исчезать и через два месяца возникать в чудной красоте. Все это было бы хорошо, если бы только могли мы понять, управляет ли этими перестройками какая-нибудь общепользная и здравая мысль? Но из восторженных толков журналов этого не видно, и мы думаем, что все ломается по прихоти, с единственной целью проложить великолепную улицу здесь, проложить великолепную улицу в другом месте: все теперь в Париже и во Франции делается для внешнего блеска, которому приносятся в жертву серьезные выгоды Франции. Париж, несмотря на свои десять или двенадцать миллионов рублей серебром ежегодного дохода, страшно обременен долгами и без этих новых расходов и должен был бы соблюдать строжайшую экономию в своих делах. А теперь, нам кажется, он подражает своему знаменитому романисту Александру Дюма,

который, построив на последние деньги великолепную виллу «Монте-Кристо», стоившую ему 450 000 франков, теперь продал ее за 30 000. Заметим в скобках, что этот автор пустейших и бесконечнейших романов, над которыми теперь у французских критиков в моде смеяться, все-таки в миллион раз лучше какого-нибудь Понсара, перед которым все благоговейют и драма которого «L'Argent et l'Honneur», по всей вероятности, нечто пошлое и скучнейшее, получила премию как «лучшее», по мнению Французской Академии, «и нравственнейшее из произведений французской драматической поэзии за прошлый год»⁴. Кроме всех этих новостей, Париж продолжает заниматься приготовлениями к своей выставке, во все продолжение которой ждут постоянного прилива 300 000 приезжих. Парижское городское начальство собиралось уже несколько раз, чтобы рассуждать о мерах, необходимых для доставления приюта многочисленным гостям; составились уже и компании для построения чудовищных гостиниц, в которых будут помещаться не сотни, а тысячи посетителей. Пока откроется парижская всемирная выставка, в Мюнхене открылась выставка промышленности Германского союза и Австрийской империи: для нее построен также хрустальный дворец, как для лондонской и нью-йоркской.

А что делается с Сейденгэмским Кристальным дворцом? Он продолжает свое существование столь же блестящим образом, как и начал его. После открытия королева несколько раз посещала его со всею королевской фамилией; число других посетителей в течение первых двух недель все увеличивалось, так что теперь бывает в первые четыре дня недели по 20 000 человек и по несколько тысяч в пятницу и субботу, когда цена за билеты повышается. Доходы дворца, кажется, вознаградят строителей за все издержки; рассчитывают по крайней мере на миллион рублей серебром чистого дохода. Правда, что надобно будет израсходовать еще очень много денег для окончательного устройства великолепных садов дворца и для пополнения ученых коллекций его, так что всего будет он стоить до десяти миллионов рублей серебром. Все это будет окончено через несколько месяцев, и тогда предполагается устроить новое торжество открытия. Таким образом, прочное существование великолепного музея общенародного образования кажется обеспеченным. Та ошибка, которая казалась нам всего неприятнее в распоряжениях его директоров, скоро будет исправлена: в парламент внесено уже предложение, которое, без всякого сомнения, будет принято, чтобы Сейденгэмский дворец был открыт и по воскресеньям. Через это и простолюдины будут иметь такую же возможность посещать его, как высшие классы общества; одинаково с Сейденгэмским дворцом предполагают открыть по воскресеньям для публики и все другие общенародные музеи.

Воспитательная выставка, которая возбудила в нас такую сильную недоверчивость, открыта в Лондоне и имеет совершенно не тот характер, какого мы от нее ожидали, судя по названию,

и еще больше по односторонним объяснениям газет. Мы говорили, что истинную пользу воспитанию мог бы принести конгресс опытных педагогов, составившийся по образцу конгрессов других ученых, и что выставлять на всеобщее удивление труды воспитанников или воспитанниц различных пансионов и школ, их прописи, рисунки, вышивания, стихи, хрии, описания солнечного восхода и весны — значит открывать широкое поле шарлатанству. Этого ничего почти и нет. Введенные в ошибку именем «Выставки», газеты обратили внимание на одну часть программы, второстепенную, и упустили из виду другую, важнейшую. Дело состоит просто в том, что съехались в Лондон для рассуждений о лучших методах воспитания опытейшие английские педагоги, участвовать в их совещаниях приехали назначенные разными правительствами ученые и довольно много других интересующихся подобными вопросами иностранцев; и вот все они толкуют о выгодах и невыгодах различных методов преподавания и воспитания, о том, в каких школах и в каких классах чему следует учить, надобно ли больше обращать внимания на геометрию и алгебру или на естественные науки, следовать ли в первоначальных школах системе Песталоцци, или нет и т. д. Для основательности сравнений разных систем преподавания и очевидного доказательства цветущего или жалкого положения школ в разных областях они привезли с собой учебные руководства и пособия, планы особенно хорошо устроенных заведений и проч. Книги разложены по столам, ландкарты, планы и таблицы развешаны по стенам, ученые педагоги сидят за столами и ведут очень серьезные прения, публика слушает и поучается. Все это принесет несомненную пользу. Она так очевидна, что многие английские школы посылают своих учителей на этот конгресс, чтобы познакомиться с новейшими усовершенствованиями в методах преподавания; во многих школах, бедных денежными средствами, даже сами ученики составили подписку, чтобы дать учителям возможность побывать на выставке, а с этим вместе посмотреть Сейденгэмский дворец и рассказать им о чудесах его.

В Париже между тем собирается другой конгресс ученых толковать об азбуке: только собираются не педагоги, а филологи, санскритисты, синологи, египтологи и т. д.; азбука, о которой они будут рассуждать, не простая школьная азбука, а ученая. Предмет интересен, и потому скажем о нем несколько слов. Известно, как трудно согласиться нашим литераторам в правописании не только английских, а даже многих французских имен; это происходит оттого, что нет в нашей азбуке знаков для выражения многих английских и французских звуков. Легко написать D'Urville русскими буквами: Дюрвиль; но как написали бы вы это имя по-русски, если в начале его отнимем Д? Урвиль? Юрвиль? А между тем всякий, умеющий выговорить Дюрвиль, сумел бы произнести и Urville, если бы только можно было в начале слова написать по-русски тот звук, который довольно хорошо выра-

жается в середине слова сочетанием ю с согласной буквой. Ясно, что всякий умеет произносить иностранные звуки лучше, нежели они пишутся русскими буквами. С английскими словами еще больше хлопот: Теккерей или «Факкерей»; по мнению «Библиотеки для чтения», Айвенго, по старому Ивангэ, и тысячи таких историй почти с каждым английским именем доказывают это. Можно вообразить, сколько бывает ученым хлопот и недоразумений при передаче европейскими алфавитами азиатских имен! В арабском языке пять или шесть различных х, три различных с, три или четыре различных э. Какая же разногласица и путаница должна господствовать в передаче их латинскими буквами! Нам смешно видеть, какой уродливый вид принимают русские слова в английском или французском костюме. Но превращения восточных имен еще безобразнее. Теперь, чтобы окончательно обсудить средства избавиться от хлопот и недоразумений, филологи соберутся в Париже (предварительные собрания были уже в Лондоне, у бывшего прусского посланника, Бунзена) и будут рассуждать об установлении общего алфавита. Дело трудное, но исполнимое. Они составят полный список всем звукам нескольких сот языков, известных ныне ученым, и придумают знак для каждого звука, которого нет в латинской азбуке; каждой букве самого латинского алфавита при его употреблении для передачи иноземных звуков будет придано одно постоянное значение, так-то, например, g всегда будет уже означать г, никогда ж, для которого надобно будет принять другой знак. Не известно, обратят ли внимание собирающиеся в Париже ученые и на введение простой и правильной системы литературного правописания; а это было бы необходимо для французов и англичан, орфография которых так мудрена. Даже и у нас было бы не излишним подумать о том, чтобы упростить орфографию: русское правописание так трудно, что надобны годы постоянного упражнения для того, чтобы вполне узнать его. Хорошим правописанием должно называться только то, которое само собою ясно для всякого, умеющего говорить и выучившегося водить пером. Таким легким и естественным правописанием пользуются теперь очень многие славянские народы, у которых литературный язык установился недавно и алфавит был переделан сообразно требованиям филологии. Сербы, чехи пишут совершенно так, как выговаривают. Им не нужно тратить множество времени для того, чтобы постичь различие между *бѣлый* и *белый*, хотя различия между тем и другим нет никакого. Нам было бы давно пора подумать о том, нельзя ли обойтись без *і, ъ, ѣ*, нельзя ли писать *а*, где произносится *а*, а не *о* и проч. К чему все эти хитрости? Сербы точно так же, как мы, прежде писали что, выговаривая што; но теперь увидели, что писать так, как произносится, гораздо проще и лучше. Говорят: «надобно придерживаться словопроизведения и древнего употребления», но по словопроизведению надобно было бы писать *ростлый*, *выростло*, *гбнуть* (сгибать), *львь* (львиный) или левиный (если удерживать

лев), *долонь* (вместо *лодонь*, от длинный, длань), *соловоя* (от соловей) и т. д. Выговор корней изменяется в производных словах и грамматических изменениях; почему же не изменяться и правописанию? Ведь мы пишем слова, которые говорим, а не корни их; ведь письмо существует для передачи живой речи, а не филологических соображений о словопроизводстве, и должно быть облегчением, удобством для жизни, а не новым обременением для памяти, которой и без того нужно удерживать столько необходимых для истинной образованности фактов, что можно было бы избавить ее от обязанности запоминать ни к чему не ведущие хитросплетения. Во всяком случае, надобно держаться чего-нибудь одного, быть последовательным: или писать *гбнуть*, для удовлетворения этимологическим соображениям, или писать *белый*, для удовлетворения выговору и облегчению памяти от ненужных затруднений. Теперь мы хромаем на обе ноги — постоянно отступаем от словопроизводства и постоянно отступаем от выговора. Следствием выходит путаница, для изучения которой нужны целые годы. То же самое должно сказать и на другое возражение против правописания, сообразного с выговором: «надобно сохранять историческое единство с древним правописанием». По древнему правописанию эта фраза имела бы такой вид: *надобно съхраняти историчьскоіе іединство с дрѣвньимъ правописаніем*. Пишите так, если заботитесь о сходстве с писцами прежних веков, а не о современных вам людях. Возвращаемся, однако, к лондонским новостям.

В Лондоне продолжают носить воинственные усы и бороды, в подражание своим парижским союзникам; этого мало: воинственность и подражание доходят до того, что некто Лэндор, увлекшись славою Шаррьера, изобретателя всесжигающего копья, которое французы продолжали держать в секрете, придумал новый род вооружения, еще более страшный; он советует итти на войну против России, вооружившись луком и стрелами. Мы не выдумываем, вот мнение Лэндора: «Лук пригоден и для пехоты и для конницы; английская пехота некогда славилась этим оружием, славилась им и парфянская конница. На ровном поле туча стрел расстроит густые ряды лучшей конницы, а в лесистых местностях никакое огнестрельное оружие не будет так смертоносно. Удивительно, как об этом никто не подумал доселе. Лук и стрелы могут быть всегда наготове. Все возрасты, юноши и старцы, могут стрелять из лука. Если стрелы были так убийственны, когда воины были покрыты шлемами и кольчугами, то чего не наделают они над нынешними войсками! Нужда научит; много думать тут нечего; поверьте, воротимся к старому: *multa renascentur, quae jam decidere* *.

Нам всегда казалось удивительным, как в просвещенных странах дозволяются полициею увеселения и фокусы, опасные для

* Многие способны воскреснуть из того, что уже умерло. В «Современнике» опечатка: *cesidere*. — Ред.

жизни фокусника, например, эти китайские представления на лондонских театрах, состоящие в том, что один китаец становится у доски, а другой издали бросает ножи так, что они вонзаются в доску совершенно близ головы, шеи, боков стоящего у доски товарища; или эти воздушные полеты верхом на лошадях, на львах и т. д. Теперь в Париже и Лондоне существуют общества для надзора за кротостью обращения с животными, и лондонское общество недавно обнародовало отчет, в котором исчисляются десятки случаев, когда оно успело подвергнуть виновных судебному наказанию за мучение кошек, собак, за жестокое обращение с лошадьми: как же можно после этого безнаказанно позволять людям подвергать самих себя уродству и смерти для потехи публики, которой вкус пошлеет, грубеет, ожесточается от подобных зрелищ? Наконец в Англии это мнение высказано официально по следующему случаю. Один из бедняков, летающих на воздушных шарах для потехи парижской или лондонской публики, француз Латур, убили до смерти, рискуя, для выполнения программы, спуститься на парашюте. Дело было в Лондоне. Как все случаи внезапной смерти, оно подверглось судебному исследованию через присяжных. Чрезвычайно утешительно, что между присяжными нашлось несколько рассудительных людей, которые к решению, что «смерть воспоследовала случайно», хотели прибавить требование, чтобы впредь подобные безумные и опасные фокусы при публичных увеселениях были запрещены. Правда, что большинство присяжных не согласилось с мнением этих почтенных людей, опасаясь, что «такие стеснения могут быть вредны успехам науки», но на первый раз довольно и того, что здравая и человеколюбивая мысль была официально высказана. Это уже ручается за то, что скоро будет она обращена в закон, и Лондон избавится от грубых и жестоких потех, которые отличаются от гладиаторских игр только тем, что у содержателей трактиров и балаганов недостает средств нанимать людей на смерть сотнями, как это делали римские эдилы и триумфаторы⁵.

Переходя к новостям в науках и промышленности, скажем прежде всего о самом изумительном из всех существующих доселе телеграфов, одна половина которых теперь должна быть уже открыта. Это — подводный электрический телеграф между Европой и Африкой. Он пойдет с итальянского берега к северной оконечности Корсики; пройдя Корсику во всю длину с севера на юг, канат снова опустится в море и соединит Корсику с Сардинией, потом пойдет по всей длине Сардинии до мыса Кальяри, снова опустится в море и протянется до противоположного берега Африки. Расстояние между итальянским берегом и Корсикой 140 верст; между Корсикой и Сардинией 15 верст; между Сардинией и Африкой — 230 верст. Первые две части подводного телеграфического каната (между Италией и Корсикой, Корсикой и Сардинией) уже готовы и привезены в Геную еще в конце июля. Несмотря на то, что каждый аршин каната весит только 8 фун-

тов — простые якорные канаты бывают несравненно тяжелее, весь канат, который ляжет между Италией и Корсикой, составляет при своей чудовищной длине страшную тяжесть в 50 000 пудов; когда он, от волнения, немного сдвинулся в трюме огромного парохода, на который был нагружен, то пароход накренился на один бок и должен был воротиться назад в гавань, чтобы поправить и крепче уложить свой груз. После этого плавание было благополучно, и теперь канат, вероятно, уже погружен. Та часть каната, которая ляжет между Сардинией и Африкой, еще в полтора раза длиннее и тяжелее — весь ее вес будет более 75 000 пудов. Она почти готова. Видя исполнение таких невероятных предприятий, над одной мыслью о которых все стали бы смеяться пять лет тому назад, поневоле будешь ожидать, что через несколько лет проложится канат и того электрического телеграфа между Англией и Америкой, о проекте которого мы говорили в предыдущем номере «Современника». Главная цель итальянско-африканского телеграфа — соединить через пиемонтские владения Францию с Алжиром; вместе с этим он выгоден для Сардинского королевства, соединяя остров Сардинию с Пиемонтом. Потому частная компания, его устраивающая, будет получать вознаграждение от французского и сардинского правительства.

Электромагнитными телеграфами хотят воспользоваться и для предупреждения несчастий, происходящих от столкновения между поездами железных дорог. Не будем входить в утомительные технические подробности и объясним только способ применения. На каждой машине есть электромагнитная батарея и телеграфический циферблат; проволоки от всех батарей и циферблатов сообщаются с общими проволоками, идущими вдоль всего участка железной дороги между двумя станциями. Таким образом, если между станциями едет один поезд, стрелка его телеграфического циферблата остается спокойна; как скоро выезжает на тот же участок дороги другой поезд, его батарея начинает действовать на стрелку циферблата первого поезда, который таким образом узнает о его появлении. Знаменитый французский физик Бекрель теперь занимается опытами еще над другим, совершенно новым приложением электромагнетизма к промышленности — применением его к добыванию металлов из руды. Теперь известно три главных способа добывания металлов: промывание руды — оно употребительно только при добывании золота и имеет ту невыгоду, что золото далеко не все вымывается из песку и осаждается на дне промывающего снаряда: значительная часть его пропадает; другой способ — добывание посредством ртути; он не здоров для рабочих, и, кроме того, цена ртути очень высока, так что этим способом выгодно извлекать из руды только золото и серебро; третий способ — плавление руды; но горючий материал также стоит очень больших издержек, и сверх того много есть обильных рудами стран, где почти совершенно нет ни леса, ни каменного угля. Потому Бекрель считает возможным найти спо-

соб с большею против нынешних способов выгодно добывать металлы посредством электрохимического осаждения, подобного тому, какое употребляется в гальванопластике. Он производит опыты уже давно и в довольно больших размерах над сотнями пудов руды. Скоро издаст он их описание и подробное объяснение своего метода, а теперь сообщает Парижской академии наук, что прежде всего он подвергает руду разным химическим операциям, для того чтобы она превратилась в массу, растворяющуюся в воде; как скоро эта цель достигнута, уже легко осадить из жидкой массы металлы, подвергнув ее действию электрического тока, подобно тому, как осаждаются из раствора металлы этим током при гальванопластических работах. Итак, практическое распространение бекрелева способа зависит от приискания дешевых средств для превращения различных сортов руды в такую массу, которая растворялась бы в воде.

Не знаем, считать ли пустым шарлатанством и другое применение электрохимизма, или гальванизма — его приложение к облегчению письменной работы. От продолжительного письма устает кисть руки — факт неприятный для тех, кому приходится много писать; и вот появилось известие о новоизобретенных электрохимических ручках для стальных перьев, придуманных каким-то Александром (Alexandre). Новоизобретенная ручка составлена из двух металлов, от соприкосновения которых возникает в ней постоянный гальванический ток, переходящий в руку и оживительно действующий на мускулы; так что рука, пишущая пером в такой ручке, может работать чрезвычайно долго, не чувствуя усталости. Все это чрезвычайно похоже на пуф, на журнальную утку или шарлатанские объявления о всеисцеляющих лекарствах, макасарском масле, l'eau de Lob, непреложно отращающей густейшие волосы на самых лысых головах (изобретатель l'eau de Lob даже дает 10 000 франков пени тому, чьей голове не поможет его вода). Но, с другой стороны, надобно припомнить, что гальванический ток в самом деле возбуждает мускулы; подумав об этом, начинаешь верить в возможность применения его к поддержанию силы в утомляющихся членах и не решаешься назвать перьев т-г Александра шарлатанской выдумкой, пока сам на опыте не удостовериться в том. Если же на самом деле гальванические ручки Александра или какое-нибудь подобное изобретение окажутся достигающими обещанного действия, то какое обширное поле открывается дальнейшим применениям гальванизма к укреплению мускулов в продолжительной работе! Мы наденем сапоги с гальваническими пластинками в подошвах и голенищах, наденем гальванические наплечники и налокотники и будем проходить, не уставая, десятки верст, работать, не уставая, по четырнадцать часов в сутки. Наконец мы наденем гальванические попоны и ножовки на лошадей, и они будут работать вместо нынешних восьми часов по двенадцати часов в сутки, потому что для сна лошади нужно только четыре часа... Какая удивительная

перспектива! Жаль только, что, несмотря на все расположение наше верить силе перьев Александра, как-то плохо верится.

От электромагнетизма и электрохимизма перейдем к другому предмету всеобщего внимания — паровым машинам и сделаем обзор состояния пароходства в настоящее время. Главные выгоды пароходов перед парусными судами — быстрота плавания и аккуратность, с какой совершают они свой путь, не останавливаясь ни затишьем, ни противными ветрами, задерживающими парусные суда. Быстрота, которой достигли ныне почтовые пароходы, в самом деле удивительна; они ходят по 450 и по 500 верст в сутки. Но зато перевозка товаров на пароходе стоит гораздо дороже, нежели на парусных судах. Доставка товаров из Англии в Соединенные Штаты обходится на парусных судах 20—25 шиллингов с тонны (около 10 или 12 коп. сер. с пуда), а на пароходах 60—80 шиллингов (30—40 коп. сер.). Потому до сих пор, кроме речного и прибрежного судоходства, в котором пароходы играют довольно значительную роль, пароходы далеко уступают парусным судам своей важностью для торговли: почти вся масса товаров, отправляемых за границу, даже в Англии, где пароходов гораздо более, нежели, пропорционально, в других европейских государствах, грузится на парусные суда; на пароходах отправляется только одна пятнадцатая часть (по весу) всех английских товаров, идущих за границу, и парусные суда сохраняют свое преимущество над пароходами в торговле, пока перевозка на пароходах не сделается вдвое дешевле нынешней своей цены.

Довольно значительного уменьшения издержек пароходов ожидают теперь от приведения в действие машин вместо водяных паров — парами хлороформа, которые одарены гораздо большей силой расширяемости и потому требуют меньше каменного угля, нежели водяные пары; по опытам, производимым теперь в Париже, вдвое меньше. Но этого выигрыша, если бы он и был действительно так велик, как рассчитывают, было бы еще мало для того, чтобы пароходы могли соперничать дешевизною с парусными судами; по расходным книгам почтовых пароходов, плавающих между Англией и Соединенными Штатами, оказывается, что издержки на горючий материал составляют только одну четвертую часть всех ежегодных издержек плавания, и следовательно даже при двойном сокращении расходов на каменный уголь пароходы все еще должны были бы брать 50—70 шиллингов с тонны, то есть все еще вдвое и втрое дороже парусных судов. Потому еще нет надежды, чтобы они вытеснили в скором времени из морской торговли парусные суда. Говорят еще о другом усовершенствовании в устройстве паровых машин вообще. Теперь механизм их производит прямолинейное движение поднятием и опущением поршня. Посредством другого механизма это качательное движение обращается в кругообразное, которым уже приводятся в

движение колеса паровозов и пароходов или архимедов винт пароходов. От этого машина становится многосложнее, дороже, тяжелее: кроме того, значительная часть силы тратится на превращение качательного движения в круговое. Потому-то уже давно придумывали, каким бы образом дать паровой машине такое устройство, чтобы она прямо производила круговращательное движение. Теперь думают достигнуть этого, устроив паровую машину не с цилиндрами, в которых ходят поршни, а в виде колеса с изогнутыми трубами, из которых будет вырываться пар и, встречая сопротивление, будет вертеть машину. Опыты производятся пока в малом размере и, по отзывам ученых, очень успешны. Конечно, еще неизвестно, до какой степени применима будет эта новая система к настоящим паровым машинам — что хорошо в малом виде, оказывается иногда неудобноисполнимо в больших размерах. В оснастке парусных судов предполагают также сделать важное изменение, носятся слухи о какой-то «винтовой системе» устройства парусов. Что это такое будет, не умеем решить по темным известиям; но, должно быть, одно из двух: или паруса предполагают устраивать в виде мельничных крыльев, так, чтобы они кружились и приводили в движение вал, вертящий колеса или архимедов винт; но при огромных размерах, какие необходимо нужны для парусов, едва ли возможно такое устройство; или хотят сшивать паруса в виде витой воронки, в улиткообразной или спиральной форме; это возможно; но мы не знаем, какую выгоду доставит подобная система парусности.

От этих предположений о винтовом устройстве парусов и объявлении о гальванических перьях Александра уж очень недалеко до области несомненных пуфов и нелепостей. Во французских газетах очень много толкуют о каком-то баснословно богатом англичанине, Биньйоне де Бовуар (Benyon de Beauvoir), который умер на-днях, оставив после себя сорок или пятьдесят миллионов рублей серебром денег; пока все справедливо; на-днях действительно умер в Англии богач этого имени, бывший член английского парламента; но пикантность известия заключается в том, что часть своего имущества отказал он, будто бы, французскому писателю Роже де Бовуару, «в засвидетельствование удовольствия и чести, какую приносили ему (завещателю) сочинения его однофамильца»; отказанная сумма так громадна, что сообщающие известие «опасаются определенно говорить о ней, чтобы не остаться ниже действительной величины подарка и, однакоже, не превзойти пределов вероятия». Из этой выдумки можно вывести, однакоже, что французы не слишком высоко уважают эстетическое развитие новых своих союзников, если взводят на одного из них такую обидную нелепость, будто бы он восхищался баллетристическими грехами Роже де Бовуара, писателя, обладающего незавидным талантом. Впрочем, кроме того, что англичане могут оскорбиться таким неуважением к разборчивости вкуса одного из бывших своих законодателей, эта выдумка не может

наделать никакого вреда. Другое дело колоссальная нелепость, которая уже более года сбивает с толку множество народа и ныне принимает формы еще разнообразнейшие, нежели когда-нибудь. Мы говорим о столоверчении⁶ и о новооткрытом действии той же силы, которая вертит и пишет ножками столов, о так называемых «постукивателях» (ésprits-frappeurs). Эти «постукиватели» (honny soit qui mal у pense *, кто не удержится от хохота, читая по-русски объяснение, в чем состоит действие постукивателей, тот может вообразить, что читает его по-латыни, на языке, имеющем свойство делать солидным и скромным все, что пишется на нем), итак постукиватели обнаруживают свое присутствие чаще всего тем, что «в человеке слышится правильное и громкое биение». Феномен этот, как, вероятно, припомнят читатели, был известен еще милому Самуэлю, или Семми Уэллеру, верному слуге забывенного мистера Пиквика, рассказывавшему для развлечения своего господина, какой необыкновенный анекдот произошел у них по соседству: дали мальчику нитку бус или корольков; мальчик стал шалить ими и проглотил одну бусинку; такая проделка ему понравилась, и он, одну за другой, проглотил все бусинки.

— Что же вышло, сэр? — продолжал мистер Уэллер: — Пошла тетка с этим мальчиком на рынок; мальчик идет сзади, вдруг тетка слышит, что позади ее что-то стучит.

— Шалишь, Томми; на улице стыдно шалить.

— Нет-с, тетенька, я иду смиренно.

Опять идут.

Опять стук.

— Да не шали же, Томми, или я тебя накажу.

— Я ничего, тетенька.

— Да что же это за стук?

— Это во мне, тетенька.

— Что ты врешь?

— Нет, не вру, тетенька; я съел нитку бус, это они и стучат, как я пойду.

Зашли сейчас же в аптеку; аптекарь осмотрел Томми и сказал:

— Ну, да, это действительно стучат в нем бусы; у вас племянник преинтересный субъект, мистрисс; я даже советовал бы вам показывать его за деньги⁷.

И совету аптекаря теперь начали следовать в Соединенных Штатах, Англии и Франции — там ловкие спекуляторы уже довольно давно показывают за деньги людей, у которых «постукиватели» сидят в ногах. Дальше мы увидим, как объясняется этот загадочный стук, а теперь не можем не представить чрезвычайно забавный пример того, до какой невообразимой степени может простираться простодушное суеверие людей, повидимому, не лишенных образования.

В одном из последних заседаний северо-американского сената,

* Да устыдится дурно подумавший об этом. — Ред.

докладчик, мистер Шильдс, прочитал, при общем восхищении и смехе, следующий «доклад».

— «Имею честь представить сенату просьбу, подписанную пятнадцатью тысячами лиц, просьбу о предмете столь же странном, как и новом.

«1) Лица, подписавшие просьбу, представляют на благорасмотрение сенату, что некоторые нравственные и физические феномены загадочного происхождения обращают на себя общественное внимание в нашем отечестве и в Европе. Анализ этих явлений открывает существование таинственной силы, обнаруживающейся подниманием, поворачиванием, увлечением на воздух, и, наконец, полетом, который она сообщает весомым телам, наперекор естественному закону тяжести и косности.

«2) Во-вторых, эта сила обнаруживается светом, являющимся внезапно в таких местах, где нельзя предполагать развития ни какого-либо химического процесса, ни фосфоричности». (Этот свет был также наблюдаем, во время темной ночи, знаменитым мистером Пиквиком, который, когда вышел взглянуть на него, то получил подобный электрическому удару сильный подзатыльник, от которого свалился с ног. Невежественный слуга Пиквика, Уэллер-младший или Семми, объяснял, что свет происходил от фонаря, а удар произошел от правой руки того сердитого человека, который нес фонарь в левой руке и которому мистер Пиквик, вероятно, наступил на ногу. Столь грубое объяснение было отвергнуто мистером Пиквиком) ⁸.

«3) Кроме того (обнаруживается эта сила), таинственными звуками, подобными то ударам, производимым рукою невидимого духа (!), то шуму ветра или грохотанию грома. Иногда слышится звук человеческих голосов или какого-нибудь музыкального инструмента». (Это явление также было уже наблюдаемо; именно, Афанасием Иванычем в «Старосветских помещиках» Гоголя, с которым, к сожалению, незнакомы северо-американские податели просьбы: иначе они могли бы прибавить: «и даже появлением разных животных»; потому что однажды, когда Афанасий Иваныч прогуливался по саду, мимо его пробежала очень исхудавшая и одичавшая кошка, оглянулась на Афанасия Иваныча и мяукнула жалобным голосом; из чего Афанасий Иваныч заключил, что ему предвещается смерть, что и оправдалось впоследствии времени) ⁹.

«4) Жизненные отправления иногда внезапно прерываются этой силой» (в людях, подверженных обморокам или наклонных к параличу, а иногда и просто подгулявших через меру; примеры этого явления также засвидетельствованы Гоголем и Диккенсом) «и тот же таинственный действительный исцелял болезни, признававшиеся неизлечимыми». (Исцелял при помощи кровопусканий, гальванических батарей, микстур.)

«Лица, подавшие просьбу, не согласны во мнениях относительно происхождения этих явлений; одни приписывают их разум-

ной деятельности духов, не имеющих телесной оболочки; другие полагают, что можно удовлетворительно объяснить их рациональным образом. Но все просители согласны в признании действительного существования этих феноменов и требуют у сената назначения комиссии для тщательного и научного исследования вышесказанных явлений.

«Я,— продолжает Шильдс,— доложил сенату верный экстракт из этой просьбы, написанный очень приличным языком; потому что я поставил себе за правило докладывать сенату все не содержащее оскорблений просьбы. Но исполнив эту обязанность, я прошу позволения сказать, что владычество подобных заблуждений над многими из наших современников, в столь просвещенном веке, имеет своим источником, по моему мнению, или ложную систему полученного ими воспитания, или некоторое расстройство умственных способностей, происходящее от какого-нибудь органического повреждения. И потому я не могу думать, чтобы такие заблуждения были столь всеобщи, как хотела бы уверить нас эта просьба. Каждый век имел свои заблуждения подобного рода», — продолжает Шильдс и в пример приводит бредни Розенкрейцеров и шарлатанства Калиостро¹⁰, который продавал молодость старухам и красоту уродам и вызывал тени всех умерших знаменитостей нового и древнего мира. Тогда не было знатной дамы, которая лично не сидела бы за обедом у Калиостро с Лукрецием или Алкивиадом, не было офицера, который не рассуждал бы о военном искусстве с Аннибалом, Александром Македонским или Цезарем. Это было гораздо замысловатее и мудренее, нежели все современные фокусы с «постукивателями», вертящимися и пишущими столами. Свой доклад заключает Шильдс словами Борка: «легковерие простаков так же неистощимо, как шарлатанство надувателей»¹¹.

Но с чего же, наконец, взялись толки о «духах-постукивателях»? Записки, доставленные в Парижскую Академию наук, очень просто разъясняют ничтожные факты, подавшие невеждам и фантазерам повод к удивительным бредням, от которых должен краснеть за своих современников каждый рассудительный человек. Вот извлечение из записки доктора Шифа (Schiff), занимавшегося исследованием явлений, приписываемых духам, наделавшим столько стука, шума и хохота в американском сенате: доктор Шиф наблюдал девочку, в которой происходил приписываемый духам стук, и убедился, что он производится легким движением мускулов и сухожилия берцовой кости в связи с движениями влагалища этой кости. Узнав это, он сам начал точно так же стучать, слегка пошевеливая верхнюю часть ноги. Движение ноги при этом почти незаметно, и поверхностный наблюдатель не увидит его. Но стоит только приложить палец к стучащим сочленениям, и он очень явственно почувствует, как мускулы и кости стучаются друг о друга. Доктор Шиф производил над собою эти опыты в присутствии членов Академии; стук был очень громкий, так что

его было слышно за три или четыре сажени, а между тем движение ноги было незаметно. То же самое говорит о происхождении стука, приписываемого невеждами новооткрытым существам, и доктор Флинт (Austin Flint), наблюдавший подобные явления еще в 1851 году и также убедившийся, что они производятся передвижением костистых частей и сухожилий. Субъекты, хвалившиеся сообщением с духами постукивателями, всегда, по замечанию доктора Флинта, опираются ногою в пол и несколько изгибают ее. Как скоро у ноги отнять точку опоры, стук прекращается, потому что трудно становится двигать верхними сочленениями так, как необходимо для произведения стука.

Как видим, нынешний месяц не представляет особенно важных новостей, и единственный замечательный факт, о котором узнали мы в течение июля, — приближение к счастливому окончанию работ по устройству электрического телеграфа между Европою и Африкой. Поэтому из мира действительности перейдем в область проектов, из старого мира в новый. Замечательнейший из новых проектов принадлежит Америке. При постоянно возрастающем богатстве Калифорнии, североамериканцы давно уже мечтали о построении железной дороги от городов, лежащих по Миссисипи или Миссури до Сан-Франциско. Читатели, может быть, еще не забыли проекта, по которому предполагалось, что издержки устройства дороги могут совершенно быть покрыты, если правительство уступит в собственности компании полосу земли, по сторонам дороги, шириной в несколько английских миль. Но прямое сообщение с одной Калифорнией, несмотря на всю свою важность, еще не так необходимо, чтобы для него можно было пожертвовать огромными суммами, нужными для построения железной дороги в 3 500 верст; теперь, когда американцы получили право торговать с Японией, важность Сан-Франциско, главной гавани на западном берегу Северной Америки, удваивается, и в Соединенных Штатах толки о построении железной дороги до Сан-Франциско возобновились с такой силой, что, вероятно, скоро составит компания с капиталом в несколько десятков миллионов долларов и начнет с правительством переговоры об условиях работ. Местность, по которой должна идти дорога, уже довольно хорошо исследована. Она не представляет непреодолимых препятствий. На половине пути из западных штатов к Сан-Франциско находятся поселения мормонов¹², которые, по оригинальности своих обычаев, принуждены были удалиться из населенных мест и искать отдаленнейших пустынь. Теперь их колония процветает и может служить очень удобным перепуском. Главное затруднение представляют высокие «Снежные горы» (Сиэрра Невада), идущие на восток от Калифорнии, не очень далеко от западного берега Америки. Но теперь доказывают, что можно выбрать место, где отлогость их спускается к берегу океана постепенно, без обрывов, так что проложение дороги не потребует слишком значительных тоннелей и насыпей. Предполагаемая дорога так длинна,

что проезд по ней займет целую неделю времени. Впрочем, теперь очень удобно можно ездить по американским дорогам, целые месяцы не выходя из вагона; вагоны устраиваются в Америке по новой системе: место, отведенное для каждого пассажира, так просторно, что путешественник может спать лежа. Американцы ввели и другое усовершенствование в деле железных дорог: все вагоны поезда сообщаются теперь у них проволокою электрического телеграфа с местом машиниста, управляющего поездом, так что необходимые известия могут мгновенно быть передаваемы машинисту. Прибавим кстати, что могущество и благосостояние Соединенных Штатов возрастает с каждым годом все быстрее и быстрее: недавно обнародованы отчеты северо-американского казначейства за прошлый финансовый год. В сравнении с предыдущим годом, доходы Соединенных Штатов увеличились более нежели на 20 миллионов рублей серебром — печальная для Англии и Франции противоположность с их бюджетами, в которых оказывается сравнительно с предыдущими годами уменьшение на несколько миллионов. В Англии уменьшение доходов приписывают и отменению некоторых таможенных пошлин и войне; во Франции должно быть приписано оно исключительно войне. Излишек доходов Соединенных Штатов перед расходами составлял в прошедшем году около 40 000 000 руб. сер., из них более 25 миллионов употреблено на погашение государственного долга. Все эти факты в Соединенных Штатах повторяются каждый год; но в предыдущем и нынешнем году они достигли необыкновенных размеров¹³. Точно так же и число переселяющихся в Сединенные Штаты из Ирландии, Англии и Франции, по спискам за первую половину нынешнего года, более, нежели было в ту же половину предыдущего.

Из парижских знаменитостей умерли в прошедшем месяце известный археолог, Рауль Рошетт, и один из лучших французских беллетристов, Эмиль Сувестр.

Эмиль Сувестр родился в Бретани в 1806 году. Сначала он был адвокатом, потом занимал кафедру словесности в Мюльгаузенском коллегииуме, но скоро оставил ученую карьеру для литературы. Основанием его беллетристической известности были рассказы из бретонских нравов, помещавшиеся в «*Revue des deux Mondes*», и потом собранные вместе, под заглавием *Les derniers Bretons*¹⁴. Книга эта имела несколько изданий, и перед смертью Сувестр пересматривал ее, приготавливая новое, исправленное издание. Кроме того, приготавливал он к печати «Новые альпийские рассказы» и огромное сочинение «История колонизаций», над которым трудился более десяти лет. Сувестр написал очень много; некоторые из его рассказов переведены на русский язык. Он умер от болезни в сердце, которой страдал два года и неизлечимости которой понимал. Но никто не ожидал такого внезапного удара. За два дня перед смертью он чувствовал себя совершенно здоровым и писал из Монморанси к одному из приятелей: «Приеду

в Париж на следующей неделе, и мы посмотрим, что можно отвечать на предложения издателя. В конце июля думаю отправиться в Швейцарию, чтобы там кончить новый ряд «Альпийских рассказов» для «Revue des deux Mondes». Готовьтесь же уделить мне как можно больше вашего свободного времени». Между нынешними французскими беллетристами, столь вычурными и изысканными, Сувестр отличался простотой и неподдельной наивностью. Особенно хорошо знал он простонародный быт, и лучшие рассказы его — рассказы о поверьях и обычаях бретонских поселян. По самому своему характеру и образу жизни он мог сочувствовать их патриархальному быту, потому что любил жить просто и тихо. Его смерть — прискорбная потеря для французской литературы.

Смерть Рауль Рошетта не была неожиданным ударом; он умер, достигши почти семидесяти лет и сделав для науки почти все, что могла она ожидать от него. Уже тридцать или сорок лет он занимал первое место между французскими, а по мнению французов едва ли не между всеми европейскими археологами. В воспоминание о трудах знаменитого ученого и чтобы не кончать нашего фельетона печальными известиями, мы приведем здесь в извлечении последнюю из бесчисленных записок Рауль Рошетта «О древних рисунках, найденных в Риме», напечатанную в июньской книжке «Journal des savants»*, прибавим к ней несколько слов о результатах археологических розысканий в других местах и окончим мыслями о других, еще драгоценнейших раскопываниях — золотых приисках и серебряных рудниках.

«Одно из неожиданных и любопытнейших открытий, которыми так богаты были последние годы, — открытие древних рисунков, представляющих сцены из Гомера. Они найдены на целевшей части стены древних развалин, на Эсквилинском холме в Риме. Обстоятельства, вследствие которых сделано открытие, довольно интересны. Папское правительство давно уже думало употребить развалины древних зданий в отдаленных частях Рима на построение здоровых жилищ для бедняков, живущих там в жалких домишках. Первый опыт решили произвести над перестройкой древнего дома, стоящего на *via Graziosa* под № 68. Сначала очистили местность от развалин и по окончании этой части работы приступили к поправке нижнего этажа, который теперь стал уже подвальным. Обозревая стены, архитектор заметил, что штукатурка на одной из них раскрашена; дал знать об этом начальству; стену начали осторожно очищать, и скоро из-под толстого слоя пыли и грязи, налегшего на штукатурку, показались рисунки. Их было два. Потом открыли на продолжении той же стены еще пять. Теперь они перенесены в ватиканскую библиотеку. До сих пор обнародованы снимки только еще двух, изображающих, по описаниям 10 песни Одиссеи, «многострадального

* Журнала ученых. — Ред.

Одиссея в стране лестригонов». Первый рисунок представляет встречу спутников Одиссея с дочерью царя лестригонов. Местность — узкая дорога между скал. На царевне длинная туника фиолетового цвета; поверх туники наброшен широкий желтый плащ (perlum), покрывающий и голову. В левой руке у царевны сосуд для воды; правую она приветствует гостей. Второй рисунок изображает сцену, непосредственно следующую в рассказе Гомера за этой встречей. Лестригоны сбегаются убить чужеземцев. Фигуры сделаны в виде эскизов, набросанных смелой и чрезвычайно искусной рукой, скомпонованы рисунки превосходно, и стиль их истинно гомерический, так что ничего подобного не было найдено ни в Помпее, ни в Риме. Краски, в минуту открытия, сохраняли всю свою свежесть и были составлены гораздо прочнее, нежели в помпейских рисунках».

В Помпее также сделано интересное открытие: найдено увеличительное стекло, существования которых у древних не предполагали, потому что ни греческие, ни римские писатели не говорят о них, рассказывают только о зажигательных зеркалах. Но теперь припомнили, что без помощи увеличительных стекол едва ли могли бы древние художники исполнять чрезвычайно тонкую резьбу своих камеев. Стекло небольшой величины; как все стеклянные вещи, найденные в Помпее, оно покрылось серой тусклой корой, так что невозможно судить, хороша ли была его шлифовка. Но что оно было увеличительным стеклом, нет никакого сомнения. Работы раскапывания в Италии теперь, впрочем, почти везде приостановлены по недостатку денег. Еще неприятнее и изумительнее для ученых, что и французское правительство остановило работы в развалинах Ниневии, в которых, однакоже, по соображениям ученого, заведывающего работами, именно теперь и дошли до самых интереснейших зданий. Неужели французское правительство не находит возможности жертвовать несколькими тысячами франков для продолжения столь важных работ?

Тем деятельнее продолжают раскапывания, производимые не с ученой целью, а с гораздо более увлекательной надеждой разбогатеть. О десятках тысяч пудов золота, добываемых в Австралии, мы уже говорили в предыдущем номере «Современника»; в Калифорнии до конца 1853 года всего добыто золота около 20 000 пудов, на сумму около 270 или 280 миллионов рублей серебром. Эти огромные массы золота заставили многих ожидать, что цена его значительно понизится сравнительно с ценой серебра; мнения едва ли основательные. Этот металл существует в количестве, выгодном для добывания, только в горизонтально лежащих формациях кристаллических пород; правда, золото существует и во многих других породах; но в таком ничтожном количестве, что добывание его стоило бы во сто раз дороже, нежели все добытое количество металла. Так, например, пласт глины в окрестностях Парижа содержит золото, но только сотую или тысячную часть золотника в сотнях пудов глины. Напротив того, серебро и се-

реброносный свинец распространены по земле в очень большом количестве, и пласты руды, их содержащие, очень толсты, так что надобно предполагать, что серебро будет добываться в огромном количестве, когда рудокопы проникнут глубже во внутренность гор и когда будут усовершенствованы рудокопные снаряды и методы добывания. Кроме того, увеличение количества добываемого золота едва ли многим превосходит увеличение потребности в нем от размножения народонаселения в Европе и Соединенных Штатах и от распространения цивилизации с ее бесчисленными потребностями*.

Правила русской словесности. А. Данского. СПб. 1854.

Смеяться над риторикою в том виде, как излагали ее Лежай (т. е. Лежэ, Lejay)¹, Бургий и русские последователи их и как излагается она в книге г. Данского, было бы теперь напрасно и невеликодушно: о хриях, соритах, напряжениях, астеизмах, окружениях теперь уже никто не думает; но если осмеяны и забыты всеми мелкие правила ретирики, то продолжает процветать ее сущность — предпочтение формы содержанию, чрезмерное уважение к «хорошему слогу» или к «прекрасному языку». Об нем-то мы и хотим поговорить.

Вероятно, очень многим приходилось досадовать, читая и слыша эти беспрестанные толки о «языке» и «слоге». Вы находите, что — будем приводить иноземные примеры — вы находите, что Александр Дюма — пустой болтун, и больше ничего²; что у него нет ни одной мысли, ни одного живого лица, ни одной капли наблюдательности во всех сотнях томов его бесконечных романов. Вам отвечают на это: «однакоже он пишет прекрасным языком». Вы находите, что Шлоссер великий историк³ — вам отвечают: «но зато каким тяжелым языком он пишет». Может быть, не всякому случалось слышать эти ответы о Дюма, потому что его слава уничтожена уж и у нас; многим, вероятно, не случалось слышать таких суждений о Шлоссере, потому что его имя у нас мало известно. Но заговорите о русских писателях, — и вы услышите, как много цены начнут придавать «прекрасному языку», которым пишет один, и «тяжелому языку», которым пишет другой.

Нам хочется теперь взглянуть на историю этого пристрастия к «прекрасному» языку, этой нежной заботливости о слоге; происхождением факта почти всегда объясняется истинное значение его.

Больше всего толкуют о языке французы; они так слабы в этом пункте, что не могут ни об одном из своих писателей сказать двух

* The Illustrated London News. — The Athenaeum. — L'Athenaeum Français. — L'Illustration. — L'Indépendance Belge. — Journal des Débats. — Comptes rendus de l'Académie des Sciences. — Illustrierte Zeitung. — Allgemeine Zeitung.

слов, не прибавив целой страницы восторгов о том, что он «пишет прекрасным французским языком, истинным языком наших великих учителей, Корнеля, Расина, Мольера и прочих», или целой страницы сожалений о том, что «он пишет неправильным или тяжелым французским языком». Откуда же взялась у этих тонких критиков такая забота о языке? Первая причина — то, что все они люди ограниченного ума, в том числе и знаменитый (некогда) Жюль-Жанен, образец всех их⁴. Люди истинно талантливые увлеклись во Франции политической экономией, естественными науками, политикою; литературная критика досталась на долю тем, у которых недоставало ума, души или добросовестной усидчивости, чтобы сделаться натуралистами, законоведами или ораторами. А сущность умственной ограниченности именно и состоит в том, чтобы, не понимая существенного, важнейшего, с увлечением останавливаться над мелочами: и господа французские критики занялись этими мелочами, от всей души воображая, что они делают важное дело, толкуя о красотах слога. Есть и другая причина. Вся беллетристическая литература во Франции сделалась поприщем действия людей одного и того же сорта, людей, у которых в голове нет ничего, кроме общих мест, в душе нет «ни сильной злобы, ни любви», которые

К добру и злу постыдно равнодушны.

Красавица, наивная или кокетливая, богатый, но не милый жених, милый, но не богатый юноша, и прочие тому подобные лица и положения — вот весь кружок идей, в котором они вращаются. Не правда ли, что писатели такого рода действительно только в одном слоге и могут различаться между собою, что в них нечего и разбирать, кроме слога? Прибавим к этому, что и критики также не имеют ровно никаких мыслей и убеждений, кроме тех, которые давно уже принадлежат к области общих мест. Итак, да здравствует слог! Он делает великих писателей (например, Ламартина⁵, Понсара⁶ и т. д.) великими, он один доставляет и нам наслаждение. Они не думают ни о чем, кроме слога; мы не ищем и не понимаем ничего, кроме слога.

Так ли думали истинно замечательные люди, в прежнее время занимавшиеся во Франции литературными вопросами? Нет, они вместе с Гёте говорили: «Думай о том, что сказать, а не о том, как сказать». Их пример показывает, что исключительная заботливость о слоге лежит не столько в сущности французского характера, сколько в случайных обстоятельствах, которые мы объяснили. Но мы очень мало доверяем изобретательности Жюль-Жанена и компании и потому не полагаем, чтобы они могли сами выдумать фразы о прекрасном языке и дурном языке. Ныне во Франции время возвращения к XVII веку; всё там, начиная с костюмов до образа понятий, заимствуется из эпохи Людовика XIV; из притики Буало почерпнуты и понятия о том, что слог — существенное в литературном произведении. Что Буало

был рабским учеником Горація, что риторика, дошедшая к нам от древних, была для французских писателей начала XVII века непреложным кодексом всех литературных понятий, это всем известно⁷. Посмотрим же, какие обстоятельства развили эту ретику и пиитику.

Греческая наука и греческая жизнь достигли полнейшего развития в IV и V веках до Р. X.; с того времени греки уже не двигались вперед, а только повторяли узанное и сказанное своими предками. Что было известно Аристотелю, больше того не узнали последующие греческие и римские ученые; а между тем они все продолжали толковать и писать. Чем же они могли отличиться, повторяя старое? Только тем, чтобы переделать его на новый лад, чтобы высказать то же, но не так. Хорошо было какому-нибудь Арриану писать жизнь Александра Македонского⁸: он сообщал в своем сочинении новые факты, следовательно, мог не заботиться слишком много о слоге. Но что нового мог сообщить после Арриана Квинт Курций? Ему оставалось только повторять. И чем он мог отличиться перед своим предшественником? Только «красотою слога». Демокрит, Платон и Аристотель могли писать простым языком, у них голова была полна идей⁹; но что оставалось делать после них Цицерону, которому также хотелось пофилософствовать и у которого не было ни одной своей мысли? И он хотел превзойти красотой слога тех, кому был обязан содержанием. Дело ясное: пока прибывают новые материалы, — строятся новые здания; когда нет средств строить новых зданий, — остается только перекрашивать и прикрашивать старые. И до каких странных понятий не может довести самолюбие? «Vous êtes orfèvre, Mr Josse» каждому больше всего нравится свое; и если я всю свою жизнь провел только в прикрашивании фраз, то прикрашивание фраз покажется мне высочайшим и важнейшим искусством в мире; и если я все только повторял чужие мысли, приплетая к ним различные украшения слога, то мне покажется, что мысль — пустяки, слог — все.

И как жалки и ограничены были понятия этих людей, проповедывавших учение о великой важности слога! Квинтилиану, например, было очень жалко, что между его современниками нет великих ораторов. Он принялся рассуждать, как помочь делу и прославить Рим новым Цицероном. Но где же ораторствовать новому Цицерону, когда дела решаются не в сенате и не в комициях? Это пустяки; по мнению Квинтилиана, великие люди не вызываются обстоятельствами, а приготавливаются по рецепту; по его системе калмыки могли бы иметь своего Шекспира или Фультона. Что такое оратор? Красноречивый патриот, *vir bonus dicendi peritus*. Итак, берем семейство, состоящее из доброго отца, хорошей матери и малютки сына. Мать и отец будут учить сына всему доброму, будут внушать ему любовь к отечеству. Половина дела будет сделана. Потом отдадим юношу хорошему учителю красноречия. Через несколько лет новый Цицерон будет приго-

товлен для славы Рима. До того, что Рим вовсе не нуждается в новом Цицероне, что нового Цицерона никто не захочет слушать, Квинтилиану нет дела. Такой же в своем роде и Гораций, другой учитель эстетиков XVII века. Он весь век свой подражал греческим поэтам; как же ему было не полагать, что слог, отделка стиха — существеннейшее дело в поэзии? Впрочем, его изобретательность и здесь не велика. Он пишет наставление о поэзии для своих современников; современники его писали эпические и лирические произведения, — а он преспокойно учит их, как писать хорошие трагедии и комедии, потому что у греков пиитика больше всего говорила о драматических произведениях.

Одним словом, не завидны обстоятельства, под влиянием которых образовалось мнение о великом значении слога в поэтическом произведении; не отличались глубокомысленностью и люди, которым поверили в этом деле на слово писатели и эстетики времен Людовика XIV. О самых этих людях не будем говорить ничего, потому что нападать на бедного Буало было бы так же напрасно, как доказывать, что Шекспир был великий писатель, хотя и не заботился о слоге до такой степени, что в рукописях его почти нет поправок.

Но какой же особенный вред произойдет для литературы, если писатели и публика будут обращать очень большое внимание на слог? Вред будет очень велик и отзовется не только на всех других сторонах литературы, но и на самом слоге. Лучший пример этого — французские писатели; о чем они думают, кроме слога? и у какого другого народа беллетристические произведения пишутся таким нестерпимым слогом? Где вы найдете писателей, подобных Шатобриану или нынешнему его преемнику, Ламартину, у которых каждый период натягивается и завивается? Переведите на французский язык самую изысканную русскую повесть, и вы увидите, что слог повести довольно еще натурален в сравнении с тем, что вы привыкли читать по-французски. Но самый оригинальный и поучительный пример — это Жюль-Жанен, который уже ни о чем не думает, кроме слога, который так прославился легкостью и прелестью слога: каждый из его прославленных фельетонов — верх изысканности и надутости. У него даже нет места и обыкновенным знакам препинания — повсюду торчат только восклицательные знаки, символические изображения того, что каждая фраза поднята на дыбы. Мы упоминаем имя этого жалкого писателя потому, что он имел и продолжает иметь довольно значительное влияние на нашу литературу, отчасти непосредственно, отчасти через многочисленных своих подражателей. Да и возможно ли, чтобы в слоге осталась хоть тень простоты и естественности, когда на него будет обращено главное внимание писателя? Забота о форме есть забота об ухищрениях и вычурностях, о румянах и корсетах. Беда была бы, впрочем, еще не очень велика, если бы ограничивалась одним только слогом; пусть он будет и дурен, это можно простить, если содержа-

ние произведения хорошо. Но какого содержания будете вы ожидать от писателя, который не думает о содержании? Думать о двух предметах в одно время нельзя; всегда один упустишь из виду; у кого в мыслях всё красота слога и языка, слова, периоды, метафоры и антитезы, тот поневоле забудет о содержании. Или нет, и этого мало: усиливаясь думать о двух предметах в одно время, подчинишь один другому; и заботясь о слоге, писатель будет заботиться приискать содержание, которое давало бы больше простора и рельефности красотам слога; он будет приискивать содержание ничтожное, которое не заслоняло бы собою слога, или содержание эффектное, вычурное, которое допускало бы больше риторических красот. История известная, и примеры у нас на каждом шагу. Сколько есть произведений, где содержание служит только либретто для музыки — слога. А либретто приобрели славу своею вычурностью и нелепостью. Сколько вреда нашей поэзии наделала в последние годы забота о пластичности! Забота о слоге ведет к пустоте или ненатуральности содержания¹⁰.

Но если не заботиться о слоге, то что же будет с ним? И неужели не надобно опасаться дурного слога? Дурным слогом писать дурно, в этом не может быть никакого спора. Но дело в том, что не было еще примера, чтобы талантливый беллетрист нуждался в заботах об исправлении своего слога. Слог дается вместе с поэтическим даром, с талантом рассказчика. Это прирожденное всякому беллетристу качество может быть только испорчено излишним вниманием к нему, как грациозность, которая прирождена красоте, может быть погублена, если красавица будет слишком много заботиться о своей грациозности. Нежное и грациозное сравнение; но что же делать? Мы хотим по мере сил заботиться о красоте слога, и если грациозное сравнение неуместно, тем лучше для нашего доказательства, что забота о слоге вредит слогу. Если же сравнение не заключает в себе ничего особенно неудачного, то продолжим его. Чем меньше красавица будет заботиться о том, чтобы очаровывать и блеснуть, тем очаровательнее она будет. И чем меньше будет талантливый писатель заботиться о красотах своего слога, тем больше выиграет его слог. Разве надобно думать, что Сервантес или Вольтер подбирали остроты? Старание быть остроумным тупоумно¹¹, старание быть грациозным и легким тяжело, неуклюже. Аффектация — вот единственное следствие стремления блистать формою. Гёте, который прославился старательною отделкою своих произведений, начал хлопотать об этом в ту эпоху, в которую не произвел уже ничего неаффектированного, ничего такого, что было бы достойно прежнего Гёте¹². А прежний Гёте говорил: «поправлять! разве вы думаете, что сделать иначе значит сделать лучше? переправлять не значит исправлять. Пусть останется, как написалось!» он же сказал: «Всякая хорошая мысль выскажется хорошо; думайте о том, что сказать, а не о том, как сказать».

Неужели же позволительно быть небрежным в слоге? Если бы такой вопрос предложили мистеру Гредгринду¹³, который любит ясность и положительность, он сказал бы: «что это значит «быть небрежным в слоге»? вы не так выразились; постарайтесь выразиться точнее». В самом деле, мы очень хорошо поняли бы, что такое небрежность слога у француза, пишущего по-русски, у русского, пишущего по-немецки. Привыкши писать и думать на одном языке, трудно применяться к требованиям другого языка; но приискивать фразы, затрудняться в выражении мысли на том языке, на котором думаешь, возможно ли это? Когда это случается, это значит только, что затрудняющийся в выражениях не совсем справился с мыслью. Что неясно представляешь, то неясно и выскажешь; неточность и запутанность выражений свидетельствуют только о запутанности мыслей, и в таком случае вместо заботы об исправлении написанных фраз надобно положить перо и подумать о сущности мысли, а не о подборе слов и не об устройстве периода. Правда, бывают такие писатели, которым еще надобно исправлять свои выражения в грамматическом отношении или справляться с словарем при употреблении слов, не употребляющихся в ежедневном разговоре, чтобы не написалось у них «который» вместо «чтобы», «категорическая картина» вместо «аллегорическая картина»; но до этих писателей еще нет дела ни эстетике, ни критике, ни публике; ход подвигов, который предстоит им совершить, относится к педагогике: сначала должно выучиться правильно употреблять союзы, местоимения, запятые и букву «ять»¹⁴, потом стать образованным человеком — это все еще не литературные занятия; а кто после этого будет писать дурным слогом, тому просто-напросто не суждено быть писателем. Другое дело содержание — о, для этого мало уметь расставлять на местах запятые и знать различие между паромходом и паровозом, аллегорией и категорией. Чтобы одушевить рассказ содержанием, нужны и наблюдательность, и опытность, и более всего талант. Но часто все эти качества еще будут бессильны или поведут на фальшивую дорогу, если им не поможет размышление. Да, иногда над содержанием приходится поэту много и долго думать. Это зависит от организации таланта — один создает легко и инстинктивно, другой только с трудом, обдуманностью, после колебания, сомнения. Но если Гоголь несколько лет обдумывал свои «Мертвые души», то это не было раздумье, как выразиться: «лучезарное светило сияло» или «блестящее светило озаряло». И если Гоголь два-три раза, а Руссо раз девять, десять, перемарывали свои рукописи, то поправки их состояли вовсе не в исправлении языка и слога, а в заменении одних мыслей другими¹⁵. Перемарывание было следствием нерешительного, мнительного, недовольного характера этих людей, а не следствием заботы о слоге.

Но какое же приложение все эти толки о слоге имеют к русской беллетристике? В чем высказываются вредные следствия слишком высокого мнения о достоинстве слога? Не будем ука-

зывать на произведения, совершенно лишённые содержания; потому что, если многие из них обязаны этим недостатком несправедливости понятий авторов, будто бы слог — существеннейшее достоинство литературного произведения, то появления большей части подобных повестей нельзя объяснить этой причиной; гораздо чаще бывает, что автор не заботится о содержании потому, что сам интересуется только такими вещами, в которых нет никакого содержания; выражаясь техническим языком: «в объективной деятельности писателя чаще всего не бывает содержания потому, что в субъективном мире автора также нет никакого содержания»; и если автор стоит ещё на той ступени развития, что высший интерес его жизни сказать во время французской кадрили несколько слов с какою-нибудь Анною А*** или Верою В***, получить от нее ласковый взгляд, то все равно, будет ли он иметь понятия о прелести слога, или не будет, но в его повести не найдется ничего, кроме страстной любви между пылким Александром или Борисом и прекрасной, блистательной Анетой, Барбарою или Верою. Автору будет казаться, что эта ничтожная тема — прекраснейшее, глубочайшее содержание¹⁶. Таких писателей не нужно ещё разубеждать ни в чем, даже и в достоинствах красоты слога; напротив, их надобно убеждать более читать и думать, внимательнее всматриваться в жизнь, проходящую вне гостиных и зал, жизнь, которой сцены совершаются до приезда и по разъезде с танцевального вечера. О недостатках произведений, писанных такими юными душою авторами, не должно много горевать: лучше они не могли бы написать; ошибка в том, что они принимаются за перо, ещё не научившись понимать людей и жизнь, а не в том, что пишут плохие произведения. Нет, мы хотим говорить о вредном влиянии высоких понятий о прелести слога не на эти произведения, а на романы и рассказы писателей, у которых нет недостатка ни в наблюдательности, ни в светлых понятиях о жизни, которых произведения привлекают к себе интересом содержания, верными изображениями и глубоким пониманием жизни, о писателях, которых нельзя не уважать.

Скажите, откуда берутся все эти бесчисленные картины природы, которые с такой пользой для романа привыкли пропускать опытные читатели? все эти картины утра и вечера, леса и степи, реки и неба, и всего, что есть на земле? Найдите мне из десяти хороших русских рассказов один, в котором бы они помещены были только там, где нужно, распространены не более, как на сколько нужно, в котором каждое описание не повторялось бы по нескольку раз. Вот описания деревни, уездного города, губернского города, леса, реки; через две страницы опять те же описания, только уже не леса, а рощи, не реки, а поля, не вечера, а раннего утра. Все это уже было точно так же описано пятьдесят раз самим автором и по пятидесяти же раз едва ли не каждым из нынешних беллетристов. Вы скажете: это подражание Гоголю, Жоржу-Занду? Нет, мы теперь имеем несколько талантов, если

не особенно блестящих, то самостоятельных, и говорим о таких писателях, которые принадлежат к их числу. Вернее сказать, что эти утомительные описания — просто следствие уверенности, будто бы красота слога оживляет и обновляет самые избитые и скучные темы: «писатель, владеющий хорошим слогом, может пятьдесят раз написать одно и то же, и каждый раз благодаря его слогу картина будет казаться новою и нравиться»¹⁷. Но теперь уже нелюбовь к описаниям начинает переходить от читателей к нашей критике; появляются от времени до времени нападения на картины природы, которыми так недавно еще всенепременно восхищались все. Перейдем же к другому роду описаний — так называемым психологическим анализам. Действующее лицо повести горюет — его печаль описывается на десяти страницах; потом оно мечтает — мечты описываются на десяти страницах; кому это нужно? разве не известно всякому, что такое чувствуется на душе, когда бываешь опечален? Эти анализы, всегда остающиеся у писателя, не более как талантливо и умно, чрезвычайно пустыми и утомительными, приобретают интерес только под пером великого психолога; а в наше время люди скромнее, нежели когда-нибудь, и если каждый из хороших современных русских беллетристов очень хорошо понимает, как и все его читатели, что он пишет дельнее и может быть лучше Жюлья Сандо, Мери¹⁸ и других второстепенных французских романистов, то никто из нынешних писателей не воображает себя Шекспиром, родившимся на то, чтобы поведавать о недостижимых от века глубинах и тайнах сердца человеческого; каждый чувствует, что неведомого миру ровно ничего нет в его длинных описаниях переливов и оттенков гореванья, ликованья, надежды, сомнения, ревности и т. д. Что же дает силу писать все эти страницы, очень утомительные, по всей вероятности, для самого пишущего? Уверенность, что хорошо написанный отрывок непременно будет хорошим отрывком, что интерес придастся не только содержанием, но и слогом.

Такому же растягиванию прекрасным слогом подвергается, кроме картин природы и анализа ощущений, и все остальное в рассказе: характеристика лиц, разговоры, действие. Результатом такого процесса бывает утомительная растянутость романа¹⁹. И читатель, закрывая книжку журнала, с удовольствием говорит: «повесть хороша» и потом с сожалением прибавляет: «а была бы гораздо лучше, если бы была втрое короче».

«Но растягиваются романы и повести вовсе не по каким-нибудь литературным побуждениям, а просто потому, что для автора лучше написать длинную повесть, нежели коротенький рассказ, лучше написать роман, нежели повесть; писатели заботятся теперь не столько о достоинстве своих произведений, сколько об их объеме». Мы не хотим принимать этого объяснения; оно ложно и доказывает только незнание предмета: к чести русской литературы надобно сказать (этого требует строгая справедливость), что для наших писателей достоинство произведения выше всех

других соображений и что ни один из них не поколебался бы пожертвовать половиною объема своей повести, лишь бы только другая половина выиграла от этого в достоинстве. Нет, мелочные соображения очень мало имеют влияния на характер нашей беллетристики. Ее растянутость — следствие убеждения, что каждая хорошо написанная картина, каждый хорошо написанный эпизод, хотя бы в нем и мало было содержания, есть уже драгоценность по своему прекрасному слогу. Всякий, хорошо знакомый с нашею беллетристикою, согласится, что растягиваются рассказы наших писателей главнейшим образом только вследствие убеждения, что, растягиваясь, рассказ приобретает новые достоинства.

Но для привыкших ставить слог выше содержания ненавистна сжатость слога; что не распространено на тысячу фраз, равносильных одной, то кажется сухо таким людям. А давно уже один из умнейших писателей прошлого века, который написал восемьдесят томов, не написав ни одного романа длиннее нескольких страничек, говорил своим современникам: «учитесь писать коротче»²⁰. Гёте и Шиллер прибавили к этому: «сжимайте объем; в этом бывает видно мастерство художника». Художественные требования говорят: «каждая подробность в поэтическом произведении должна быть оправдана своею необходимостью для выражения общей идеи произведения; все, чего не требуется для полноты выражения идеи, должно быть отбрасываемо». А старинная риторика Кошанского прибавляет: «в прозе каждое лишнее слово есть бремя для читателя»²¹.

Любовь поэта. Драматическая фантазия в трех актах, с прологом. А. Оводова. СПб. 1854.

Смотря по тому, каковы достоинства или недостатки разбираемого произведения, обязанность рецензента имеет три степени. Очень часто он должен объяснять, почему произведение хорошо или дурно. Такие произведения могут рецензенты по справедливости называть тяжелыми для себя. При разборе других произведений нет надобности объяснять достоинства или недостатки, нужно только показать их, они ясны сами собою, стоит только выбрать места, в которых качества произведения выступают особенно ярко. Такие разборы могут назваться легкими. Наконец есть сочинения, в которых не нужно и выбирать мест, довольно выписать первые, какие вздумается рецензенту, потому что все в этих произведениях одинаково прекрасно или дурно. Такие сочинения рецензенты должны называть «праздничными» для себя явлениями, потому что они избавляют критика решительно от всякого труда. Драматическая фантазия г. Оводова принадлежит к числу праздничных для рецензента произведений. Он может быть уверен, что выбрать красоты из «Любви поэта» дело

совершенно излишнее: каждый стих в ней — перл, каждый монолог — непрерывный ряд перлов. И так берем наудачу.

После пролога, в котором объясняется, что Валерий — вдохновенный поэт, и после первых двух сцен первого акта, в которых Валерий объясняет Констанции, что он влюблен в нее, а Констанция отвечает Валерию, что и она также влюблена в него, Валерий засыпает и начинается

ИНТЕРМЕДИЯ — ФАНТАЗИЯ

(Сон Валерия)

«Дикий лес в ночных туманах зимы; небо мрачно; кругом нависшие скалы и льдины; при сильной морозной вьюге показывается Валерий».

«Хор невидимых сил» поет Валерию, что путь его тяжел и мрачен теперь, но скоро прояснится; Валерий декламирует также, что путь его мрачен. Хор утешает; Валерий тоскует и жалуется, но победа остается на стороне хора; он говорит, наконец, поэту:

Смотри, озаряется чудно
Сияньем угрюмая даль!

«Даль неба озаряется светом; облака идут быстро, меняются в разных отливах; утесистые горы зеленеют и покрываются цветами; леса дают пышную тень; слышно пенье птиц; тихий ароматический ветер навевает на душу Валерия чувство любви и смирения; воздух наполняется гениями; среди их призрак прекрасной женщины; черты ее юны, но величественны; чело выражает любовь и мудрость; на голове миртовый венок; она вся в белом; Валерий, пораженный силою высоких чувств, благоговейно преклоняется».

Хор гениев, а потом один гений solo начинает петь, что Валерий блудный сын, потому что влюблен в Констанцию и забыл величественную, хотя юную даму или девицу, у которой на челе мудрость, а на голове миртовый венок, и которая, по всей вероятности — богиня поэзии (которой, сколько известно, ни у греков, ни у римлян не было); Валерий должен покинуть Констанцию и идти за этою новою дамою, которая восклицает:

Раскаяннѣ слезой открой к спасенью путь
И светлою душой земное позабуди!
Иди, я бодрствую над избранной главой,
Надейся и люби, я всюду за тобой!

«Все исчезает; небо темнеет; деревья покрываются инеем; густой мрак облакает природу; сильный ветер и морозная вьюга начинают свирепствовать».

Опять поет на прежний лад хор невидимых сил.

«Сильная буря; ночные птицы жалобно воют; целые льдины с шумом обрушиваются; Валерий проходит дикие долины среди грозного вихря; колючие кусты терновника всюду замедляют ему

путь; он смело идет; чело его покойно; взор ясен; на отдаленном горизонте едва алеет свет и загорается звезда».

Интермедия кончена; действие переносится в комнату Констанции, которая среди глубокой ночи объясняется своей наперснице в любви к Валерию; наперсница уходит. Констанция ложится спать и «старается уснуть. Бьет три часа; слышится отдаленный звон колоколов и завыванья ветра», и вслед за тем «Невидимый голос» поет:

Здесь напрасно
Лучшие стремленья;
Безответно
Все на голос сердца и т. д.

На другое утро Клавдий, отец Констанции, объясняет ей, что он просватал ее за барона Гросберга. «Констанция, вперив неподвижный взор на отца, в изнеможении с тихим стоном падает в кресла».

К о н с т а н ц и я (слабо).

Что было? что слышала я,
Любви безотчетной полна?

К л а в д и й.

О дочь, говори, говори!

К о н с т а н ц и я (с усилием).

Родное виденье души,
Не призрак туманный, воздушный,
Не сердца пустая мечта!
Ты понял, отец, о, ты понял!

К л а в д и й (вспыльчиво).

Га! занято сердце твое!

К о н с т а н ц и я (тихо).

О боже, дай силы, дай волю!

К л а в д и й (сердито).

Кто избранный сердцем так скрытно?
И кто он? и что он? ответствуй!

К о н с т а н ц и я (смущенно).

Где речи? О боже! Немеет...
Мой голос... и твердость слабеет...
И гнутся колена... И темно...
И грустно! откликнись, мой милый...
Дай силы!..

К л а в д и й (в недоумении).

Смущенье понятно...

(Теряясь в догадках.)

Но кто же?

К о н с т а н ц и я (с воплем).

Где ты? О, где ты, мой Валерий!

(Падает без чувств.)

К л а в д и й.

А, тайна открыта! Эй, люди!

Бесчувственную Констанцию уносят; Клавдий, оставшись один, говорит, что любовь ее — детская вспышка и что он, не-

смотря ни на что, отдает дочь за барона. Его ужасным монологом кончается первый акт.

А к т в т о р о й. Через год. Сцена I. Уединенная часть сада; по временам слышен шум ветра и отдаленные раскаты грома. Полночь. Входит **В а л е р и й**. Лицо его бледно; все черты показывают внутреннее волнение».

Он пришел на свидание с Констанцией, теперь уж супругой барона; и в ее ожидании страшно свирепствует против судьбы и т. д. Входит *она*; она чувствует, что делает преступный шаг; стыдится и боится.

В а л е р и й.

О чем боязнь? Мы здесь одни,
Сокрытые покровом ночи.
Рассей свой страх, мой друг унылый,
Взгляни с надеждой на меня!
Я дик и мрачен; свет и люди
Меня бесчувственным сочли;
Одним безумным упоенье
Души отрадное стремленье
Они назвали. Никогда
Еще взор женщины с любовью
На мне украдкой не скользил;
Никто из ближних без насмешки
Еще со мной не говорил;
И холодели мои чувства,
И вера гасла день от дня,
Я обнял вдруг всю бедность жизни,
С ее мучительной тщетой;
И первых дум моих паренье
Облек холодный суд людей
Корой тяжелою презренья
И ядом клеветы своей,
И все как лики мертвеца
Бежали моего лица, —

и так далее; монолог растягивается на шесть страниц. Но «подымается сильный ветер и гроза. Сильные удары грома. Молния».

К о н с т а н ц и я.

Смотри, стихии мира против нас!
Ты слышишь гром? (*С воплем*): он разлучает нас!

В а л е р и й (*твердо и спокойно*).

Он души съединит союзом неба!
Пророчества я слышу голос в нем!
Я жду тебя, мой светлый гений (*указывая на небо*), там!
В том мире, в том, мой вестник искупленья!

(*Сильная буря.*)

Влюбленные расходятся. Сцена вторая. «Высокая мрачная комната со сводами в доме барона. Ночь». Между бароном и Констанцией страшный диалог, потому что барон подозревает жену. Наконец он восклицает:

...О, мщенье! мой покой
И предков честь мрачит она,
Пустыдной страсти предана!

«Констанция во все время монолога судорожно следит за бароном и прислушивается к его словам; лицо бледно; глаза сверкают; она тяжело дышит, все черты выражают глубокое презренье и мрачное отчаянье; она говорит спокойно и твердо:»

Злодей! пред небом в час последний
Ты дашь ответ за жизнь мою и т. д.

«Благородно и гордо смотрит на барона, как бы довольная спокойствием своей души».

Барон отвечает жене «ядовито»; она говорит «отчаянно»:

Ничтожны все мои моления!

Барон.

Они преступны, как сам ад!

(Мрачно отходит в глубину комнаты.)

Констанция (вся бледная, едва может говорить).

Что слышу! Небеса молчат!

(Падает без чувств.)

Сцена переносится в комнату Валерия; пропускаем его отчаянные монологи, занимающие 17 страниц, и переходим к последней сцене второго акта, совершающейся через два года после предыдущих. Полночь. Валерий читает на улице отчаянный монолог, вдруг:

«Слышен шум; показывается погребальное шествие; улица освещается факелами; за гробом следуют барон и Клавдий в глубоком трауре; группа. Валерий прислушивается с возрастающим удивлением. Шествие удаляется. Пораженный сильным отчаяньем, Валерий долго стоит неподвижно; потом весь дрожит и, громко зарыдав, всплескивает руками; потом, быстро опуская их, держит у груди своей в том же положении; падает на колена, наклонив голову; долгое молчание; встает; голосом, как бы подавленным глухими рыданиями, в котором слышны сильная скорбь и ужас:

Так! сирота теперь я горький в мире!
И я живу и кровь течет во мне!
И сознаю умом своим я горе!
Где ты, о смерть! спеши сюда, я твой!
Прочь просится душа от тлена!
Ей душно! душно ей! и страшно стало!
Она мертва! Я вижу-лик тот бледный!
И эти скорбью сжатые уста!
Она мертва! мертва! Га! Оправдались
Теперь вы, сны и голос роковой
Любви и совести! О, то она!
Она меня звала на погребенье!
За ней! за ней! Соединиться! Там!

и «бежит, показывая правой рукой на небо; но, добежав до середины улицы, падает замертво».

Здесь собственно кончается драма; все третье действие заключается только страдальческие монологи Валерия. Он томится гру-

стью по Констанции, томится очень долго и, наконец, умирает; выписываем последние строки драматической фантазии:

Валерий.

Пора, пора! Я слышу глас призванья!
И мне легко, светло!.. Невольный сон
Объемлет дух, и близок час свиданья

(Погружается в забвенье, в состоянье умирающего.)

И до меня доходит смутный звон!
Глаза блестят отрадными слезами!..
Минувшее проходит предо мной
Как смутный сон! Могильными странами!
На душу веет мне... и тишиной!..

(Восторженно.)

Она зовет меня, окружена
Толпою гениев!.. В очах любовь сияет!
И вечность предо мной!.. и смерть!.. Она
На лоно мира дух мой призывает!

(Умирает, обращая взоры к небу, как бы пораженный виденьем.)

Вероятно, все читатели согласятся с нашим мнением, что «Любовь поэта» г. Оводова—произведение в своем роде несравненное.

Заметки о женщинах. Д. Мацкевича. Киев 1853¹⁾

Эта брошюрка, отдельный оттиск статьи, которую г. Мацкевич поместил года два тому назад в «Современнике». Потому, предполагая, что она уже известна читателям, скажем только наше мнение относительно вопросов, затрогиваемых, но не решаемых г. Мацкевичем.

Выше или ниже мужчины по уму женщина? Нам кажется, что положительный ответ на это было бы можно дать только тогда, если бы воспитание и положение женщины в семействе и в обществе было таково же, как воспитание и положение мужчины. Но разница в этом до сих пор еще так велика, что невозможно решить, какие именно черты в нынешнем характере женщины и особенностях ее умственного развития принадлежат самой сущности женской организации и какие, напротив того, обязаны своим происхождением единственно тому исключительному положению, в которое поставлен почти весь женский пол. Можно только утвердительно сказать, что влияние воспитания и роли, которая предписывается женщине общественным мнением и обстоятельствами семейной и гражданской жизни, очень значительно, и что поэтому надобно предполагать гораздо менее существенного природного различия между умственной и нравственной организацией мужчины и женщины, нежели как может казаться с первого взгляда. Мы достоверно знаем только то, что во всех отраслях деятельности, которые общественным мнением равно открыты для мужчины и женщины, женщины выказывают не менее ума,

характера, гениальности, нежели мужчины. Если же пускаться в предположения, то надобно прибавить, что органы чувств у женщины устроены природою нежнее и восприимчивее, нежели у мужчины; а как от совершенства органов чувств зависит и совершенство умственной деятельности, то можно думать, что по природе женщина может достигать высшего развития, нежели мужчина, и если не достигает, то единственно по влиянию внешних условий своей жизни. Но, повторяем, это — предположение. Достоверно напротив того, что все факты и соображения, из которых думали выводить, что женщина осуждена своей организацией быть на каком бы то ни было поприще умственной деятельности вечно ниже мужчины, не выдерживают беспристрастного разбора. Так, например, говорят: «почему же между женщинами не было великих живописцев?» Писать масляными красками учатся сотни тысяч мужчин и всего только пять-шесть женщин в целой Европе. Удивительно ли, что когда из сотни тысяч мужчин выходит один Брюллов², из пяти или шести женщин не выходит ни одной Брюлловой? «Почему между женщинами нет великих композиторов?» Потому опять, что они не учатся генерал-басу. Кроме того, молодой человек, учась искусству или науке, знает, что он должен будет этим снискивать себе средства к жизни, ему с малолетства внушается забота о том, чтоб избрать себе определенную карьеру, стать живописцем, скульптором. Девуца с самого начала знает, что ей предназначено будет не добывать средства для жизни живописью, а угождать мужу и ухаживать за детьми. Что не цель жизни человека, в том, конечно, он мало сделает успехов, будет ли этот человек мужчина или женщина. Девуцу учат только для того, чтобы жених не забраковал ее, как дурно воспитанную, или обратил на нее внимание за то, что она грациозно танцует или играет на фортепьяно французскую кадрили. Дальше посредством уменья играть на фортепьяно, требуемого общественными приличиями, от девушки ничего не желают воспитатели и не требует надобность. Девуца выходит замуж восемнадцати или девятнадцати лет, еще ребенком по летам, еще более ребенком потому, что не знает людей, еще более, быть может, потому, что ее не приучали мыслить, как приучают мальчика; удивительно ли, что до двадцати лет, когда и мужчины не бывают еще ни Шекспирами, ни Бетховенами, женщина не успевает написать ни замечательной драмы, ни симфоний? Вышедши замуж, она делается домохозяйкой... удивительно ли, что мало бывает славных женщин? Потом начинаются заботы о детях. Много еще можно прибавить в этом же духе. Все эти соображения — избитые общие места, вроде того, что на востоке восходит солнце, а на западе заходит; но досадно, что на них очень мало обращают внимания, повторяя еще более избитое общее место: «женщина не может быть великим ученым, великим скульптором» и т. д. Касательно скульптуры петербургские писатели могли бы припомнить, проходя по Адмиралтейской площади, что голова медного всадника

изваяна женщиной³. А что касается до учености, то мы не думаем, чтобы выучить латинские спряжения было мудренее, нежели французские, или разбирать клеточки синхронистических таблиц скучнее, нежели вязать чулок⁴. Смешно говорить, что у женщины не достанет ума, чтобы постичь мудрость того, что знали бездарнейшие мужчины, или не достанет для этого терпения, когда вся жизнь большей части женщин проходит в энергическом исполнении самых скучных и тяжелых обязанностей, которых не в силах исполнять мужчина. Теперь у женщины терпения и усидчивости, единственных условий, нужных для того, чтобы приобрести много сведений, больше, нежели у мужчины; впрочем, и в этом мы не решаемся видеть природной черты женского характера; ее приучают, от нее требуют, чтобы она шила, ухаживала за малютками, и она это делает; мужчине обыкновенно к этому незачем привыкать, у него и не достает на это терпения; а он также может это делать, когда его приучат и поручат ему подобные дела: если есть швеи, то есть и портные; есть няньки, есть и дядьки. Женщину не приготавливают, не заставляют посвящать свою жизнь изучению греческих хористов, главнейшим образом только поэтому, должно думать, она и не издает греческих грамматик⁵.

Конечно, между мужчиною и женщиною должна быть некоторая природная разница в организации ума и характера, как есть разница в организации тела; мы говорим только, что это умственное природное различие между полами ничтожно в сравнении с тем влиянием, которое оказывают на развитие особенностей женского ума и характера влияние воспитания, общественных преданий и требований, и различие в семейном и общественном положении; и определить в точности границы этого влияния теперь трудно, как трудно определить влияние природного расположения на то, что Алексей шьет сапоги, а Семен фуражки. Что же касается до мнения, будто бы женщина не только различается от мужчины по направлению ума, но и ниже мужчины по уму, оно давно отвергнуто, как самохвальство грубых времен, когда достоинство человека измерялось физической силою.

Графиня де Мадень (ъ). Роман. Сочинение Е. П. Москва. 1854.

Ловкая фраза: «Роман. Сочинение Е. П.» может много заставить подумать, что «Графиня де Маден» оригинальное сочинение; нет, это очень посредственный перевод плохого французского романа. Дело, однако, не в том, на каком языке первоначально писано это произведение, в Париже или в Торжке написано оно; мы хотим сказать, что его московское издание навело нас на самые утешительные мысли.

«Графиня де Маден» по всем внутренним качествам и внешним признакам относится к так называемой серобумажной литературе. Действуют в романе жители сен-жерменского предместья,

с большими титулами; о чем-нибудь, похожем на здравую мысль или наблюдательность, нет и помину; о таланте нечего и спрашивать; доказывается, что женское сердце ищет бурных страстей, однакоже после того возвращается к мирной любви у домашнего очага и т. д. Книжка, толщиной в палец, разделяется на две части; на каждой странице чуть ли не по пяти строк, на каждой строке чуть ли не по пяти букв; наконец — верх злоухищрения против людей, покупающих книги у варягов: переводный роман выдается за оригинальное произведение.

А между тем, какая разница в сравнении с серобумажными изданиями сороковых годов, какой прогресс в течение десяти или пятнадцати лет. Теперь уже термин «серобумажная литература» теряет свой осязательный смысл и становится метафорическим выражением. «Графиня де Маден», например, напечатана на бумаге очень пристойной; шрифт также недурен, он не избит, не подслеповат, не уродлив, как в прежних изданиях того же внутреннего достоинства; опечаток мало; даже орфография почти везде соблюдена, даже знаки препинания расставлены, как должно; наконец язык перевода, правда, не совсем хорош, но и не таков же, каким, бывало, переводились романы Поль-де-Кока. Одним словом, при взгляде на «Графиню де Маден» «душа радуется, дух торжествует», как у гоголева Ивана Петровича при виде того, как прекрасно стали у него переписываться бумаги¹. Как прекрасно было бы, если бы внутреннее достоинство всей нашей литературы улучшилось в той же степени, как улучшилась ее наружная опрятность с тех пор, как Лермонтов говорил о наших книгах:

Во-первых, серая бумага;
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток;
Читаешь — сотни опечаток².

Как прекрасно было бы, если бы можно было сказать, что так же мало прилагаются к нашим нынешним книгам и другие его замечания. Но развитие литературы не зависит уже ни от типографий, ни от словолитен; мы можем только спросить: от кого же зависит оно? от многих обстоятельств, но, по нашему искреннему мнению, всего более от публики; мы не будем говорить, как, бывало, говорили прежде, что публика пренебрегает русскими книгами, предпочитая им иностранные: нет, теперь русская книга уважается русским читателем, если не более, то и не менее иностранной; кто читает, на тех не вправе жаловаться русская литература; но публика русская все еще слишком малочисленна; так малочисленна, что как незаметная капля потопает в огромной массе людей, у которых чтение не обратилось в настоящую потребность; а где нет настоящего требования, чего тут ожидать? Но не всегда же это будет продолжаться; сотни людей, жаждавших чтения двадцать лет тому назад, давно размножились в тысячи; еще несколько лет, и в русской публике будут считаться

не тысячами, а десятками тысяч читатели, для которых умная и живая книга — настоятельная потребность, и тогда, будьте уверены, русская литература не замедлит развернуться, потому что в ней нет недостатка в силах; тогда не скажет вдохновенный поэт:

Путь широкий давно
Преодо мною лежит и проч., *

потому что литература сильна непреодолимым сочувствием публики.

Объявление о «Совр <еменнике>» 1857 <г.>

Современник в 1857 году будет издаваться в том же объеме и в те же сроки, теми же лицами, разделяющими между собою труды по редакции журнала, и при участии тех же сотрудников, которые печатали в нем свои произведения в течение предыдущих лет. Но, оставаясь неизменным по своим издателям и сотрудникам, «Современник» с наступающего года становится в новое положение, значительно увеличивающее силы его и заслуживающее внимания читателей. Увеличивающееся число литературных журналов заставило некоторых писателей наших подумать о том, что, раздробляя свою деятельность на участие в нескольких периодических изданиях, писатель подвергает себя неудобствам, которые сильно чувствуются публикою, если его произведения интересуют читателей. Неудобства эти очевидны: тому, кто не имеет времени или средств постоянно читать несколько журналов, трудно бывает не пропустить того или другого из произведений любимого им автора, когда одно из них является в одном, другое — в другом журнале; еще затруднительнее для каждого читателя пересмотреть, для возобновления прежних впечатлений или для проверки своего мнения, все произведения известного писателя, когда они разделены по нескольким изданиям. Но если это неудобство тяжело для читателя, то еще ощутительнее невыгодные следствия его для писателя: он чувствует потребность знать мнение публики о своей литературной деятельности, а образование этого общественного мнения замедляется обстоятельством, о котором говорено выше. Издатели «Современника», вполне разделяя этот справедливый образ мыслей, всегда, со своей стороны, думали также, что журнал, будучи обязан своим успехом в публике сколько от забот редакции <?> об его достоинстве, столько же или еще более деятельности постоянных своих сотрудников, должен стремиться к тому, чтобы из личного предприятия редакции сделаться предприятием, в выгодах которого участвовали бы наравне с издателями и те писатели, полезное и неизменное содействие которых приобретает ему внимание и сочувствие публики. Обмен этих

* Стихотворения Кольцова, «Путь», стр. 46.

мыслей имел своим следствием соглашение четырех наиболее уважаемых публикою писателей — Д. В. Григоровича, NN <? А. Н. > Островского, гр. Л. Н. Т <олстого> и И. С. Тургенева — с издателями «Современника» в том, что все произведения четырех участвующих в договоре авторов с начала наступающего 1856 <1857> года будут помещаться исключительно в этом журнале, — соглашение, от которого выиграют и публика, и писатели, принявшие участие в договоре, и достоинство журнала, приобретающего исключительное право знакомить публику с их произведениями.

Приобретая это новое положение своему журналу, редакция «Современника» останется с тем вместе верна принципу, которого она твердо держалась. Гордясь участием писателей, уже заслуживших сочувствие публики, она употребляет все свои усилия на то, чтобы сделать свой журнал посредником между публикою и вновь являющимися талантами. Она готова признать, что успехи литературы зависят как от развития деятельности писателей, уже пользующихся заслуженною известностью, так и от готовности журналов дать ход новым талантам. «Современник» был счастлив новыми талантами: в нем появились «Рассказы <Записки> охотника», которые утвердили за собою г. Тургеневу место, ныне занимаемое им в русской литературе; в «Современнике» появились повести г. Григоровича «Пахарь»...*, и в недавнее время «Современнику» досталось удовольствие познакомить русскую публику с талантом графа Толстого. Эти факты не могут не служить редакции «Современника» достаточным побуждением никогда не изменять делу, которое принесло такие плоды не только нашему журналу, но и всей русской литературе. Читатели наши могут быть уверены в том, что редакция «Современника» всегда будет стараться о том, чтобы каждый новый талант нашел в «Современнике» самую радушную встречу и самое почетное место.

<ИЗ № 10 ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННОК», 1861 г.>

Географические очерки и картины. Составлено по Грубе и другим источникам¹. Два выпуска. Москва. 1861 г.

Это книга, заслуживающая полной рекомендации, как учебное пособие. — В предисловии к первому выпуску издателя говорят:

«Книга, перевод которой мы предлагаем русским читателям, имела в Германии огромный успех: в продолжение семи лет она выдержала семь изданий. — Составитель ее, Август-Вильгельм

* Пропуск в подлиннике. Кроме названного «Пахаря» (1853), Григорович напечатал в «Современнике» повести: «Антон Горемыка» (1847), «Бобыль» (1848), «Четыре времени года» (1849), «Мать и дочь» (1851) «Смедовская долина» (1852). — *Ред.*

Грубе, известен как один из самых замечательных, современных деятелей в области педагогической литературы. Кроме «Географических картин», изданы им «Исторические очерки»*, «Биографические миниатюры», «Картины естественной истории», «Арифметика» и друг. Все эти книги пользуются вполне заслуженной репутацией лучших учебных пособий в богатой педагогической литературе Германии. «Geographische Charakterbilder» своим громадным успехом вызвали множество последователей и подражателей, к числу которых принадлежит, между прочим, и Пютц. Не лишним считаем предварительно познакомить читателя со взглядом Грубе на преподавание географии.

Цель и значение географии как науки, по его мнению, состоит в том, чтобы изучить землю как орган жизни человечества и показать взаимное влияние земли на человека и человека на землю. Но так как к этой цели не может привести общеупотребительный у нас способ преподавания географии, ограничивающийся заучиванием одной номенклатуры, то необходимо, чтобы главным основанием географического курса — была «Культурная география», к которой и должны быть направлены все отдельные его части — как радиусы к центру. Конечно, это легко сказать, но трудно сделать, потому что строго научное изложение культурной географии совершенно нейдет для того возраста, с которого начинают обыкновенно преподавание географии. — Грубе в своей книге старался показать наглядно, в рассказах, отношения жизни человека, с ее нравами, общественностью, религией, государственным устройством, — к почве, на которой он вырос, к климату, в котором он вращается; эти географические картины должны с одной стороны быть совершенно индивидуальными, маленькими монографиями; а с другой стороны между ними должна существовать внутренняя связь, какая существует между различными видами и подразделениями одного великого целого. — Представить в живых образах культуру человечества, от полюсов до тропиков, в зародыше ее у австралийского негра и на вершине ее развития у цивилизованных народов Европы — в северо-американских поселениях и всемирных городах Англии, — такова цель этих картин, которые должны отличаться от простых описаний местности, годных только при изучении одной физической географии, тем, что здесь пейзаж оживляется людьми, которые, группируясь на переднем плане, поясняют фон картины и, в свою очередь, получая от него освещение, выходят рельефнее. Притом, изображая людей и природу в их общей связи, должно стараться выбрать такие моменты из истории развития человечества, которые бросают свет на духовную (этическую) сторону картины. — Удачное выполнение этого последнего условия и составляет одно из существенных достоинств переведенной нами книги Грубе.

* Первый выпуск их появился недавно в русском переводе гг. Славутинского и Криницкого.

Мы отдали ей предпочтение перед другим трудом того же автора, где идет дело о почве, климате и об окружающем человека мире растений и животных, потому что в сочинениях подобного рода у нас не чувствуется такой насущной потребности, как в пособии при изучении культурной географии. По этой части у нас уже есть кое-что, например, «Сборник земледения» Фролова и др. издания.

Чтобы не показался странным порядок, принятый Грубе в его книге, нужно прибавить, что он имел при этом особенную цель, которую пояснил в предисловии. — Он находит, что должно начинать не с сложных отношений, порожденных европейской цивилизацией, а с простых сцен — в странах полярных, в степях и пустынях, где взаимные отношения между почвой, растением, животным и человеком бросаются в глаза. Понятно, что при этом объем книги позволял брать только самое типичное. При выборе источников Грубе пользовался не одними немецкими путешественниками — и в выбранных им статьях иное дополнял, сокращал, перегруппировывал, соображаясь с предположенной себе целью и постоянно имея в виду эстетическую сторону изображений.

В заключение нам остается прибавить, что отделы, показавшиеся нам недостаточными у Грубе, — мы позволили себе дополнять извлечениями из других источников; причем дали место русским авторам, так как изданные ими путешествия, по нашему мнению, нисколько не уступают, ни в наблюдательности, ни в изложении, многим сочинениям, за которыми в иностранной литературе упрочено название *классических*.

Чтобы познакомить читателя с тем, как исполняется книгою программа, изложенная в предисловии, выпишем здесь первый из очерков, изображающих Венгрию.

«Вся полоса, лежащая между Дунаем и притоком его Тиссой и простирающаяся на 2 000 квадратных миль, от Пешта до Терезиенштадта и Замбора, представляет песчаную равнину, где нет ни речки, ни кустарника, а тем более плодовых деревьев. Изредка только, подобно оазисам Сахары, встречаются небольшие плодородные полосы с хлебными полями и зелеными пастбищами, покрытыми многочисленными стадами овец, рогатого скота и быстроногих кобылиц. Здесь нет проложенных дорог, одни колени от колес указывают на проезжие места. На пространстве нескольких миль часто не попадается не только селения, но и одиноких жилищ; путешественник видит только бесконечное, синевато-серое степное небо, с его облаками, уподобляющимися цепи гор, — небо, которого даль подчас представляется зыблущейся синевой реки или озера. — Отсутствие деревьев лишает страну певчих птиц; один только жаворонок поднимается по временам с луга или с пашни и нарушает тишину своею трелью; кой-где сидят коршуны над падалью или пролетят стаи ворон.

Места, годные для земледелия и скотоводства, не далеко лежащие от городов и селений, называются «пустами», с славян-

ского «pusty» — пустой; этим же именем венгерцы называют вообще пустыни и степи; и о степях Сахары говорят как о благословенной, воспетой в их народных песнях пусте Гортабаджи. Дома в пустах обыкновенно строятся из глины и кроются тростником. В обширных болотистых местах (топях) Дуная и Тиссы тростник растет в таком большом количестве, что в этих безлесных странах его употребляют на топливо; в местах же, отдаленных от рек, служит для топки высушенный навоз, смешанный с соломой.

От славянских соседей своих мадьяры научились земледелию; но их первоначальная кочевая натура не изменилась. Эти верные спутники Арпада (вождь их в средних веках)² в продолжение целого тысячелетия остались все-таки тем же, чем были. Они, по обычаю своих отцов, носят те же длинные усы, те же сапоги со шпорами; и в лице мирного поселенина все еще видны воинственность и мужество, которыми отличались их предки. Даже походка их так же смела и отважна. На земле, которую он завоевал как солдат, венгерец и остался солдатом. — Конь до сих пор его лучший товарищ. — При первом поверхностном взгляде на селение уже ясно сказывается происхождение его обитателей; по всему заметно, что они составляли воинственно-кочевой народ. Длинная и широкая улица, образуемая рядами домов, повсюду одинаковой высоты и разделенных один от другого ровными промежутками, придает всему селению вид лагеря. Так и кажется, что по первому данному сигналу шатры эти снимутся, а обитатели их сядут на коней и отправятся завоевывать другую, лучшую землю. Церковь посреди селения напоминает то место, где была главная палатка их предводителя.

В этих селениях нет ни пятна тени, как будто венгерцы и в Европе не забыли природной наследственной ненависти восточных народов к деревьям.

Как во всех городах Востока, и здесь при входе в каждое селение находится ничем не огороженное кладбище; на могильных курганах стоят наклоненные столбы, и покойники все кладутся лицом к востоку.

Все эти селения образовались из тех станов, в которых располагались во время завоевания отдельные части большого войска. — Кроме городов: Офена, главного местожительства их дворянства, богатого торговлею Пешта и нескольких новопостроенных городов, все остальные скопища, вмещающие до 10, 20 и более тысяч жителей, имеют вид обыкновенных деревень, от которых они отличаются лишь песчаными улицами, широкими до того, что по ним свободно могут скакать сотни лошадей; да еще число этих улиц очень значительно.

Одежда венгерцев в высшей степени оригинальна; крестьяне носят рубаху с широкими рукавами, такую короткую, что, подымаясь при ветре, она часто обнажает загоревшую от солнца спину. Из-под рубахи спускаются широкие шаровары, заправленные в сапоги и называемые «gaguа». Венгерцы крепко перетягиваются

ремнем, от чего грудь значительно выдается вперед. Верхнюю их одежду составляет «bunda», то есть шубка из овечьих шкур, наброшенная на плечи. — Шляпа с широкими полями, в виде tschaco, покрывает их голову. — Зажиточные крестьяне и (мелкопоместные) дворяне носят сверх gaguа еще узкие суконные, обшитые галуном шаровары, также заправляемые в сапоги, — совершенно по-гусарски носят они долман, к которому и прикрепляют свою овчинную шубку. — С этого костюма снята гусарская форма; только ремень у гусаров заменен богатым кушаком, а бунда коротким, шитым золотом, ментиком.

По рассказам историков прежних времен, мадьяры заплетали волосы в косы и перевивали их лентами; сарматский же обычай брить головы явился у них при польских королях и потом исчез при начале австрийского владычества. Тогда венгерцы, снова отпустив себе волосы, стали носить их так, чтобы они длинными прядями падали на плеча. Этот обычай гусары, призванные Людовиком XIV во Францию, удержали и по возвращении своем в отечество. В настоящее время одни стригут волосы в кружок, а у других они доходят до плеч.

Женщины и мужчины носят одинаковые черные или красные сапоги. Коротенькая юбка, цветной лиф, а зимою овчинная шубка — вот обыкновенный наряд женщин. Девушки заплетают волосы в одну длинную косу, лежащую на спине, а замужние подбирают и связывают их вместе на маковке.

Мадьярский крестьянин — деспот в своем доме. О своей хижине и маленьком участке принадлежащей ему земли, хотя бы он был не более пяти квадратных футов, он с гордостью говорит: «мое поместье»; а на жену и детей глядит как на подданных. Жена иначе и не называет мужа, как своим «господином» и никогда не смеет сказать ему «ты».

Мадьярский мужик несколько раз в год белит свою хижину; она построена совершенно на восточный манер, и редко, редко маленькое окошечко выходит наружу. — В самом доме высокие деревянные стулья; войдя в него, видишь детей в сапогах со шпорами, играющих около очага; но их двое, или много, много трое. — Венгерец считает почему-то неприличным наполнять дом свой «крикунами», как выражается он о детях.

Мальчика четырех лет уже сажают на коня; уцепившись за гриву своими маленькими ручонками и чувствуя, что сидит крепко, молодецки начинает он покрикивать на своего коня. В тот день, когда он проскачет и не упадет с лошади, отец, вместо приветов, с важностью говорит ему: «Embervagy — ты человек». В венгерском народе благородное чувство собственного достоинства, этот отличительный признак его предков, до сих пор еще живо. Слово «честь» — «bestület» — часто слышится в его разговорах, и действительно все, что бы венгерец ни делал, на всем лежит печать человеческого достоинства и чести. — Извозчик

весело катит вас целую станцию; приедет, быстро отпряжет лошадей и, приветливо кланяясь, пожелает вам счастливого пути; но нужно упрашивать его, чтобы он согласился взять на водку, и если он уже взял, то мало ли, много ли дано, одинаково доволен; у него никак не достанет духу просить больше, — это было бы, по его понятиям, не честно, не «bestületes». Вечерком, когда он уже кончил свои дневные работы, он усаживается у своего домика и, расправляя усы, покуривает трубочку.

Будучи неограниченным властителем в доме, венгерец обращается с своим семейством чрезвычайно ласково; он, как и все сильные люди, считает себя обязанным быть кротким. Он не позволит себе обидеть жену или отяготить ее непосильными заботами; жена понимает, что имеет в нем друга, опору и защитника; этого мало, он почти всегда относится к ней нежно: «роза моя, звезда моя», — это обыкновенные имена венгерских жен. Магьярский язык, подобно всем восточным, наполнен метафорами: образен, картинен, пластичен и нагляден. В нем много кудреватых фраз, которыми мадьяры приветствуют своих соседей, друзей и гостей. Если вы остановитесь в какой-нибудь деревне, то из дому, к которому вы подедете, тотчас выйдет хозяин и, сняв шляпу, предложит вам дружеское гостеприимство. Он не отпустит вас, не произнеся официальной благодарственной речи и не призвав на вас благословение неба; и все это с благодушием и достоинством, свойственными только восточным народам.

Магьяр с охотою делается солдатом, ибо следует в этом только своей воинственной природе. Под огнем он храбр, как француз, и, как он, с одинаковою ловкостью нападает и обороняется; но он предпочитает сражаться на коне, — ибо «lora termet a' magyar, — венгерец рожден для коня», говорит одна старая поговорка. В самом деле, безошибочно можно сказать, что нация эта всю свою жизнь проводит на лошади; кто не ездок, тот не считается за человека. Лошади их татарской породы, малы ростом и костлявы; они удивительно легки и потому бегут с неимоверною быстротою и неутомимостию, — без подков, часто без мундштука и всякой другой сбруи, с простою веревкою вокруг шеи. Они нетерпеливо бьют копытами землю до тех пор, пока не услышат от всадника слова «пе», которое заставляет их нестись вихрем. Каждый раз, как их господин говорит с ними, они поднимают голову и напрягают уши. В очень редких случаях прибегает он к нагайке, большею частью бывает довольно замахнуться».

Читатель видит по этому отрывку, что книга Грубе — географическая хрестоматия, хорошо выполняющая свое назначение. Вот перечень статей, помещенных в русском ее издании:

Норвегия. — Последний город на Севере. — Лапландец. — Красота полярной зимы. — Самоеды. — Обдорские остяки. — Пустоши и селения Венгрии, стада и пастухи, земля и народ. — Польские селения. — Австрийские крестьяне. — Богемия. Земля и народ. — Фрейберг в рудных горах. — Альпы. — Кантон Ап-

пенцель. — Нравы и предания в кантоне Гларусе. — Женевское озеро. — Брегенцкий лес. — Картина тирольского быта. — Шплюгенский горный проход. — Италия. — Физиономия нынешнего Рима. — Римская кампания. — Римский карнавал. — Страстная неделя в Риме. — Венеция. Геркулан. — Испания и испанцы. — Жители Мадрита. — Эскуриал. — Альгамбра. — Мексика. — Индейцы в Мексике. — Мексиканские креолы. — Лина и ее жители. — Бой быков в Лине. — Греция. — Афины. — Афинский акрополь. — Франция. — Воспитание женщин во Франции. — Картины Парижа. — Вечер в Пале-Рояле. — Народные увеселения в Елисейских полях. — Парижские работники. Жена парижского работника. — Париж и благерство *. — Общая организация городской жизни. — Авиньон. — Марсель.

* Хвастовство, высмеивание. — *Ред.*